МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»

«Надо просто взять и прочитать»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Живая Классика

с. Грачевка, 2017 – 2018 гг.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Аверченко Аркадий

Человек за ширмой

I

— Небось теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым — тогда небось наплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились… Но лучше нет! Пусть смерть… Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете — всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:

«Пусть убивают!»

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.

— Пожалуйста, не притворяйся, — сердито сказала мать. — Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям… Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так, что он находит на улице деньги… сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом… Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь — леопард или пантера… Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала… А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподымаются и — трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери… Никогда не смотрел на

лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья — чтобы она не была косая… Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь…

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп… Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» — «Да уж поздно!» — подумает его труп и совсем, навсегда умрет… Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния… Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника не подходяща, улегся на ковре. Были сумерки: от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушённые двойными рамами далекие крики с улицы:

— Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли… Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!

«Кричат… — подумал Мишка. — Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: «Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так — никто не умирает… Умирают от болезней».

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.

«Вот оно, — подумал Мишка, — чахотка. Ну и пусть! И пусть. Всё равно».

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги.

Голова немного склонена набок, и глаза закрыты.

Поза была найдена.

Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать…

II

Но ему помешали.

Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.

— Только на одну минутку, — говорила тетя Ася, входя.— А потом я вас сейчас же выгоню.

— Настасья Петровна! Десять минут… Мы так с вами редко видимся, и то все на людях… Я с ума схожу.

Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..

— Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич,— совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя.— Не понимаю, почему вам сходить с ума?

— Ах, Настасья Петровна… Вы жестокая, злая женщина…

«Ого! — подумал Мишка. — Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал — она б тебе показала».

— Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.

— Не находите? А мучить, терзать человека — это вы находите?

«Как она там его терзает?»

Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате всё было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов — этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы — ничего подобного. Никого не терзали… Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

«Вот уронишь ещё баночку — она тебе задаст», — злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.

— Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?

— Чем? И вы не догадываетесь?

Тётя взяла зеркальце, висевшее у неё на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.

«Вот-то здорово! — подумал Мишка. — Надо бы потом попробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове… Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть — еще почище теткиного верчения будет.

III

К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий приём с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес:

— И вы не догадываетесь?!

— Нет, — сказала тётя, кладя зеркальце на колени.

— Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!

«Вот оно… Уже начал с ума сходить, — подумал со страхом Мишка. — На колени стал. С чего, спрашивается?»

— Я день и ночь о вас думаю… Ваш образ всё время стоит передо мной. Скажите же… А вы… А ты? Любишь меня?

«Вот ещё, — поморщился за ширмой Мишка,— на „ты“ говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»

— Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть…

«Что-о такое?! — изумленно подумал Мишка, — Что он такое собирается делать?»

— Ну, скажи — любишь? Одно слово… Да?

— Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками.

— Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря её руки. — Одного меня? Больше никого?

Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам.

«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же… Пусть-ка она теперь подойдёт к нему с поцелуями — он её отбреет».

— А теперь уходите,— сказала тетя, вставая. — Мы и так тут засиделись. Неловко.

— Настя! — сказал офицер, прикладывая руки к груди. — Сокровище моё! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил всё героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором.

«Настя! — говорит мужественный офицер. — Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью…» Тётя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а

палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.

— Ах, — сказала тётя, — мне так стыдно… Неужели я когда-нибудь буду вашей женой…

— О, — сказал офицер. — Это такое счастье! Подумай — мы женаты, у нас дети…

«Гм… — подумал Мишка, — дети… Странно, что у тети до сих пор детей не было».

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого… У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тётя без детей.

«Наверно, — подумал Мишка, — без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».

— Иди, иди, милый.

— Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..

— Нет, нет, ни за что…

— Только один! И я уйду.

— Нет, нет! Ради бога…

«Чего там ломаться, — подумал Мишка. — Поцеловалась бы уж. Будто трудно… Сестрёнку Труську целый день ведь лижет».

— Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам! Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тётю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.

Мишке сделалось немного неловко. Чёрт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: — «Вы чего тут делаете?!»

Но тётя уже оторвалась от офицера и убежала.

IV

Оставшись в одиночестве, обречённый на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

«Ложки звякают, чай пьют… Небось меня не позовут. Хоть с голоду подыхай…»

— Миша! — раздался голос матери. — Мишутка! Где ты? Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери.

«Сейчас будет извиняться», — подумал он.

— Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?

«Эх, — подумал добросердечный Миша. — Ну и бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Всё ж таки она меня кормит, обувает».

Он задумался о чём-то и вдруг неожиданно громко сказал:

— Мама, поцелуй-ка меня!

— Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.

Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздёрнул плечами:

«Что тут особенного? Не понимаю… Полжизни… Прямо — умора!».

Надежда Тэффи

Счастливая

Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье, очень давно - в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива. Я помню: мне шесть лет, моей сестре - четыре.

Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.

Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.

Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.

И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.

Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.

Но мы - дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?

Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня - заплакать ей или нет?

И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.

- Лена! - говорю я громко и весело.- Лена! Я сегодня видела конку!

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка.

Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте,- а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах,- и трубил в золотую трубу:

- Ррам-рра-ра!

Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.

Как расскажешь это все! Можно сказать только:

- Лена! Я видела конку!

Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?

- Ррам-рра-ра!

Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.

Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

И.С. Тургенев

Стихотворение в прозе «Милостыня»

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову — и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты всё свое богатство роздал, — послышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею, — ответил со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Валентина Осеева

Бабка

Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. «Всю квартиру собой заполонила!..» – ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: «Старый человек... Куда же ей деться?» «Зажилась на свете... – вздыхал отец. – В инвалидном доме ей место – вот где!»

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку, как на совершенно лишнего человека.

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: «Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку...»

Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» «Зачем?» – сонным голосом спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем – вот зачем!»

Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка...»

В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!»

Бабка торопилась к нему на помощь. «Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила».

...Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол сумку с книгами и кричал: «Бабка, поесть!»

Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает».

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» «Ела, ела, – кивала головой бабка. – Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава».

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька весело подтолкнул его локтем: «Идём, идём! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция». Бабка одёрнула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: «Обидеть – что ударить, приласкать – надо слова искать».

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: «А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная». «Как это – главная?» – заинтересовался Борька. «Ну, старенькая... всех вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это». «Не взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не здоровается...»

После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем мы тебя?» А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех – никто о ней не заботится». Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня – мал ещё!»

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то не вернёте».

* * *

Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами. «Чего это ты такая разрисованная? Старая очень?» – спрашивал он. Бабка задумывалась. «По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. Горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала – ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась – опять морщины. Мужа на войне убили – много слёз было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет».

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни – неужели всё лицо такими нитками затянется? «Иди ты, бабка! – ворчал он. – Наговоришь всегда глупостей...»

* * *

За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё присаживалась. «В землю врастает», – шутил отец. «Не смейся ты над старым человеком», – обижалась мать. А бабке в кухне говорила: «Что это, вы, мама, как черепаха по комнате двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».

Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу – клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор.

На другой день бабку схоронили.

Вернувшись со двора, Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. «Мой ещё, – сказала она и низко наклонилась над сундуком. – Мой...»

На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шёлка – тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку моему Борюшке».

Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве «ш» было четыре палочки. «Не научилась!» – подумал Борька. Сколько раз он объяснял ей, что в букве «ш» три палки... И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого длинного забора...

Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз, к коленкам пристала свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придёт утром бабка!»

Константин Паустовский

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, - они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, - кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал - барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах - мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Татьяна Петросян

Записка

Записка имела самый безобидный вид.

В ней по всем джентльменским законам должна была обнаружиться чернильная рожа и дружеское пояснение: "Сидоров - козёл".

Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание... и остолбенел.

Внутри крупным красивым почерком было написано: "Сидоров, я тебя люблю!".

В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал?

Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно.(Как они обычно ухмылялись. Но на сей раз - нет.)

Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая глядит Воробьёва. Не просто так глядит, а со значением!

Сомнений не было: записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит?!

И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТ??? Какие последствия это повлечёт и как теперь Сидорову быть?..

"Будем рассуждать логически,- рассуждал Сидоров логически.- Что, к примеру, люблю я? Груши! Люблю - значит, всегда хочу съесть..."

В этот момент Воробьёва снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза её давно не стриженные... ну да, настоящие когти! Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно догрызала костлявую куриную ногу...

"Нужно взять себя в руки, - взял себя в руки Сидоров. (Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи.) - Я люблю не только груши, но и родителей. Однако не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки. Папа часто носит меня на шее. А я их за это люблю..."

Тут Воробьёва снова обернулась, и Сидоров с тоской подумал, что придётся ему теперь день-деньской печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьёва - не худенькая и носить её будет, пожалуй, нелегко.

"Ещё не всё потеряно,- не сдавался Сидоров.-Я также люблю нашу собаку Бобика. Особенно когда дрессирую его или вывожу гулять..." Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьёва может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево...

"...Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо...- в отчаянии соображал Сидоров,- нет, это не то... мух люблю ловить и сажать в стакан... но это уж слишком... люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри..."

От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова: "Воробьёва, я тебя тоже люблю". Пусть ей станет страшно.

Ганс Христиан Андерсен

Девочка со спичками

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году - канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях?

Туфли эти прежде носила ее мать - вот какие они были большие,- и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем - ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась!

Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка. Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, - и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной

рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают

витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

"Кто-то умер", - подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к Богу".

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

- Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко - туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, - они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах - улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

- Девочка хотела погреться, - говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

Ирина Пивоварова

О чём думает моя голова

Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная. Но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами.

Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме:

— Мам, а у меня задачка не получается.

— Не ленись, — говорит мама. — Подумай хорошенько, и всё получится. Только хорошенько подумай!

Она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей:

— Думай, голова. Думай хорошенько… «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожалуйста! Ну что тебе стоит!

За окном плывёт облачко. Оно лёгонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывёт дальше.

Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе не стыдно!!! «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно, простила. Но разве она подойдёт, такая вредина?!

«…Из пункта А в пункт Б…» Нет, она не подойдёт. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмёт под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки.

«…Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» А я что сделаю?.. А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить её, чтобы она дала им послушать. Сто раз слушали, всё им мало! И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку.

«…Из пункта А в пункт… в пункт…» А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в её окно. Стекло — дзинь! — и разлетится. Пусть знает.

Так. Я уже устала думать. Думай не думай — задача не получается. Просто ужас какая задачка трудная! Вот погуляю немножко и снова стану думать.

Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классики. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела.

— Серёжка! Витька! — закричала сразу Люська. — Идёмте в лапту играть!

Братья Кармановы выглянули в окно.

— У нас горло, — хрипло сказали оба брата. — Нас не пустят.

— Лена! — закричала Люська. — Лен! Выходи!

Вместо Лены выглянула её бабушка и погрозила Люське пальцем.

— Павлик! — закричала Люська.

В окне никто не появился.

— Пе-еть-ка-а! — надсаживалась Люська.

— Девочка, ну что ты орёшь?! — высунулась из форточки чья-то голова. — Больному человеку отдохнуть не дают! Покоя от вас нет! — И голова всунулась обратно в форточку.

Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела как рак. Она подёргала себя за косичку. Потом сняла с рукава нитку. Потом посмотрела на дерево и сказала:

— Люсь, давай в классики.

— Давай, — сказала я.

Мы попрыгали в классики, и я пошла домой решать свою задачу.

Только я села за стол, пришла мама:

— Ну, как задачка?

— Не получается.

— Но ведь ты уже два часа над ней сидишь! Это просто ужас что такое! Задают детям какие-то головоломки!.. Ну давай показывай свою задачу! Может, у меня получится? Я всё-таки институт кончала. Так. «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Постой, постой, что-то эта задача мне знакома! Послушай, да ведь вы её в прошлый раз вместе с папой решили! Я прекрасно помню!

— Как? — удивилась я. — Неужели? Ой, правда, ведь это сорок пятая задача, а нам сорок шестую задали.

Тут мама страшно рассердилась.

— Это возмутительно! — сказала мама. — Это неслыханно! Это безобразие! Где твоя голова?! О чём она только думает?!

Александр Грин

Алые паруса (отрывок)

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора во двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипеньем всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уже которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от неё, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, — она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!».

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка, — все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. —

Вот я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами.

Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета»

— всё было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя.

Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад.

И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки, и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? — сказала она.

— Да. — И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Евгений Пермяк

Хитрый коврик

Умной Машенька росла, да не все понимала.

Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

— Ах, ты, такая-сякая, колючая. Зачем только ты на свете живешь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

— Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь еще и мед дает.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

— Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

— Вот что, — говорит Крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума-разума набраться, но пришла. А вдруг да Крапива что-то дельное скажет?

А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий.

— Добудь, Машенька, рукавички, — говорит Крапива, — да выдергай меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдергала Крапиву и связала в пучки.

— А теперь, — говорит Крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и спрашивает:

— Еще что придумаешь?

— Теперь, — говорит Крапива, — ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее… А дальше сама увидишь…

Опять Машенька сделала все то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть.

Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышила на нем зелеными нитками молодую веселую крапиву.

Повесила Маша коврик на стенку и сказала:

— Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.

Александр Фадеев

Молодая гвардия
(Руки матери)

…Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А в темные жилочки.

С того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, как ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили не пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра в коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «Бе-а-ба, ба-ба».

Я помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела – пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы ни сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они не погнушались.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была возле меня, и ночник горел в комнате, ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Оглянись и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости…

Ю. Коваль

Дед, баба и Алеша

Заспорили дед да баба, на кого похож их внук.

Баба говорит:

- Алёша на меня похож. Такой же умный и хозяйственный.

Алёша говорит:

- Верно, верно, я весь в бабу. Дед говорит:

- А по-моему, Алёша на меня похож. У него такие же глаза - красивые, чёрненькие. И наверно, у него такая же борода большая вырастет, когда Алёша и сам вырастет.

Алёше захотелось, чтоб у него выросла такая же борода, и он говорит:

- Верно, верно, я больше на деда похож. Баба говорит:

- Какая борода большая вырастет, это ещё неизвестно. Но Алёша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с мёдом, с пряниками, с вареньем и с ватрушками с творогом. А вот как раз самовар поспел. Сейчас посмотрим, на кого больше похож Алёша.

Алёша подумал немного и говорит:

- Пожалуй, я всё-таки сильно на бабу смахиваю.

Дед почесал в затылке и говорит:

- Чай с мёдом это ещё не полное сходство. А вот Алёша точно так же, как я, любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились, сено из нашего стожка щиплют. Надо поглядеть.

Алёша подумал-подумал и говорит:

- Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня - на тебя. Вот сейчас чаю попью и сразу на тебя похож буду.

И пока пил Алёша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка, а уж когда мчались на санках в лес, точно так, как дед, кричал: «Но-ооо, милая! Давай! Давай!» - и щёлкал кнутом.

Виталий Бианки

ОДИНЕЦ

ЧАСТЬ I. Глава 1.

ОДИН ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ

Лось низко опустил голову, грозя поднять на рога каждого, кто приблизится к нему спереди. Задом он прижался к двум сросшимся у корня деревьям – и был надежно защищен с тыла.

Собаки обступили его полукругом. Их было три, и любая из них могла схватиться один на один с волком. Ощетинив шерсть, захлебываясь от злобы лаем, они когтями рвали под собой землю. Они ждали только удобного момента, чтобы, подскочив, вцепиться зверю в горло, в спину, повиснуть на нем, зубами рвать живое мясо. Ни одна из них, однако, не отваживалась переступить невидимую черту, за которой – они знали – встретят их страшные рога лося. Что их волчьи зубы против неимоверной силы этого лесного богатыря?!

Жутко поблескивающие глаза лося ловили каждое их движение. Тяжело вооруженная голова делала чуть заметный поворот, как только одна из них подскакивала на шаг ближе.

Исступленным лаем собаки старались скрыть свой страх. Все три были умны и опытны, ни одна не хотела лезть на верную смерть. В конце концов, их дело ведь только задержать зверя, не дать ему ходу, не пустить в чащу. Они вовсе не обязаны хватать его за горло, пока он не ранен. Пусть расправляется со зверем тот, кто идет за ними.

Но лось хорошо понимал, где таится главная опасность. Едва между деревьями мелькнул человек, он разом подался вперед.

Три разъяренных собаки одновременно кинулись на него: две спереди, одна сзади – вцепиться и удержать.

Но это был только ловкий прием: зверь быстро отпрянул, а распаленные его мнимым испугом собаки неудержимо ринулись вперед. И на одно мгновенье очутились ближе к нему, чем позволяла мудрая осторожность.

Лось двинул рогами – и первая собака высоко взметнулась в воздух. Ударил ногами – и вторая, как распоротый мешок, свалилась на землю, обливаясь кровью.

Тогда лось опрокинул рога на спину, взял с места широкой, размашистой иноходью и, не глядя на уцелевшую собаку, двинулся в чащу.

Свое громадное тридцатипудовое тело он нес на бегу легко и плавно. Его бег был стремителен и прям, как бег стального паровоза по рельсам.

В последний миг выскочил из-за деревьев охотник. Перед ним мелькнули высокие белые ноги, горбатый загривок, сухой опущенный крестец, – и зверь врезался в плотную заросль, легко раздвигая грудью тугие ветви, ломая деревца. Собака метнулась за ним, но упругие руки чащи отбросили ее назад.

Охотник опустил бесполезное ружье: громадный лесной зверь исчез в чаще так же бесследно, как исчезает в темной глубине моря выскользнувшая из рук рыба. Не догонять же его в непроходимой заросли.

Охотник подошел к лежавшим на земле собакам. У одной был проломлен череп. У другой из широко распоротого живота вывалились на траву все внутренности. Обе уже не дышали.

У охотника помутнело в глазах. Он прислонился к дереву. Отчаяние его охватило…

Виктор Драгунский

Денискины рассказы.

... бы

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме "понравилась" такая история, что я хожу и командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы "понравилось", а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

"Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! - И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: - Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!"

И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал: "Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь садись к столу".

Он бы сел и потихоньку сказал маме: "Ну как поживаешь?"

А она бы сказала тоже тихонько: "Ничего, спасибо!"

А я бы немедленно: "Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты мое!"

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил: "Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз - на черный ход!"

Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: "После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!"

Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали: "И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!"

А я бы им: "Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и все!"

Тогда бы бабушка взмолилась: "Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!"

Но я бы увильнул, я сказал бы: "А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!"

И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы...

Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

- Ты еще сидишь. Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!

Лев Толстой

Птичка

Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Серёже сетку, чтобы птиц ловить.

Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка подвернётся, и сетка сама захлопнется.

Обрадовался Серёжа, прибежал к матери показать сетку. Мать говорит:

– Не хороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь?

– Я их в клетки посажу. Они будут петь, и я их буду кормить!

Достал Серёжа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И всё стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку.

Пошёл Серёжа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и под сеткой бьётся птичка. Серёжа обрадовался, поймал птичку и понёс домой.

– Мама! Посмотрите, я птичку поймал, это, верно, соловей! И как у него сердце бьётся.

Мать сказала:

– Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти.

– Нет, я его кормить и поить буду. Посадил Серёжа чижа в клетку, и два дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку. На третий день он забыл про чижа и не переменил ему воды. Мать ему и говорит:

– Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти её.

– Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку.

Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик, испугался, бьётся об клетку. Серёжа вычистил клетку и пошёл за водой.

Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему:

– Серёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка!

Не успела она сказать, чижик нашёл дверцу, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку, да не видал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё жив, но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Серёжа смотрел, смотрел и начал плакать:

– Мама! Что мне теперь делать?

– Теперь ничего не сделаешь.

Серёжа целый день не отходил от клетки и всё смотрел на чижика, а чижик всё так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа пошёл спать, чижик ещё был жив. Серёжа долго не мог заснуть; всякий раз, как он закрывал глаза, ему представлялся чижик, как он лежит и дышит.

Утром, когда Серёжа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на спинке, поджал лапки и закостенел.

С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц.

Михаил Пришвин

Лягушонок

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки - прыгунки разлетелись в разные стороны. В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать.

След вначале был прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки. Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда-сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часу прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

Ушинский Константин Дмитриевич

Слепая лошадь

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.

Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче.

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра — так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.

Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки.

Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?

Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев. Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю.

Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса.

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.

С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.

Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере.

Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел.

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор.

Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется.

Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом.

Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол.

Потребовали на площадь неблагодарного купца; несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади…

Валентина Осеева

Волшебное слово

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. — Подвиньтесь,— сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: — С тобой что-то случилось? — Ну и ладно! А вам-то что?— покосился на него Павлик.

— Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... — Ещё бы!— сердито буркнул мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому. — Убежишь? — Убегу! Из-за одной Ленки убегу.— Павлик сжал кулаки.— Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у самой сколько! — Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит. — Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо тряпкой, тряпкой... Павлик засопел от обиды. — Пустяки!— сказал старик.— Один поругает, другой пожалеет. — Никто меня не жалеет!— крикнул Павлик.— Брат на лодке едет кататься, а меня не берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку залезу!» Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. — Что же, не берёт тебя брат? — А почему вы всё спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду: — Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... Павлик раскрыл рот. — Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни — тихим голосом, глядя прямо в глаза... — А какое слово? Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: — Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. — Я попробую,— усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую.— Он вскочил и побежал домой. Лена сидела за столом и рисовала. Краски — зелёные, синие, красные — лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик!— с досадой подумал мальчик.— Разве такая поймёт волшебное слово?!..» Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: — Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она смущённо пробормотала: — Какую тебе? — Мне синюю,— робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал её в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал: — Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста. Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. — Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой!— приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе щеки. «Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: — Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. — Возьми его, — вдруг

сказала сестра. — Что тебе стоит! — Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — Конечно, возьми. — Пожалуйста, — повторил Павлик.

Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: — Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! «Помогло! Опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.

Георгий Скребицкий

Осень (Рассказ из книги «Четыре художника»)

Для своей работы художник - Осень взяла самые яркие краски и прежде всего отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину.

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной желтизной. А листья осинок разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко - красный, весь как огонь горит.

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди неё дуб - богатырь, стоит, густой листвой потряхивает. «Могучего богатыря нужно в медную кованую броню одеть». Так вот и обрядила старика.

Глядит – а неподалёку, с края поляны, густые, развесистые липы в кружок собрались, ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-осеннему: кого в жёлтый наряд, кого в ярко-красный... Одни только сосны да ели не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а игры, их и не разрисуешь. Пусть как были летом, так и останутся.

Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от этого ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем уборе.

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хлеба, свезла на гумна, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие, словно башни, стога.

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И потянулись над ними в осеннем небе косяки перелётных птиц: журавлей, гусей, уток... А там, глядишь, высоко-высоко, под самыми облаками, летят большие белоснежные птицы – лебеди, летят, машут крыльями, словно платками, шлют прощальный привет родным местам.

Улетают птицы в тёплые страны. А звери по-своему, по-звериному, к холодам готовятся.

Колючего ёжика Осень загоняет спать под ворох сучьев, барсука – в глубокую нору, медведю стелет постель из опавших листьев. А вот белочку учит сушить на сучьях грибы, собирать в дупло спелые орехи. Даже нарядную сизокрылую птицу-сойку заставила проказница - Осень набрать полон рот желудей и запрятать их на полянке в мягкий зелёный мох.

Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут; к зиме готовятся, некогда им даром время терять.

Спешит, торопится Осень; всё новые и новые краски находит она для своей картины. Серыми тучами покрывает небо. Смывает холодным дождём пёстрый убор листьев. И на тонкие телеграфные провода вдоль дороги, будто чёрные бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих ласточек.

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольна Осень своей работой.

Виктор Астафьев

Капалуха

Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.

Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой берёзки и осинки да меж деревьев развёртывал свитые улитками ветви папоротник.

Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник.

В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зелёные пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнётся увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается чёрной с седоватым налётом.

Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветёт она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников.

У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.

Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка (охотники чаще называют её капалухой).

— Гнездо! Гнездо! — кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде не видел.

— Да вот же, вот! — показали ребятишки на зелёную корягу, возле которой я стоял.

Я глянул, и сердце моё забилось от испуга — чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшая мхом со всех сторон и сверху тоже, затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утеплённое мхом гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем — оно было тёплое, почти горячее.

— Возьмём! — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною.

— Зачем?

— Да так!

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на неё!

Капалуха металась в стороне. Крылья у неё всё ещё разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у неё голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.

— А пух - то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, — сказал подошедший учитель.

— Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-всё, каждую капельку... — грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну пошли стадо догонять!

И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза её уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла.

Глаза её начали затягиваться дрёмной плёнкой. Но вся она была настороже, вся напружинена. Сердце капалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней появятся головастые глухарята.

И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям всё, иной раз даже жизнь свою.

Евгений Рыбаков

Небольшой рассказ о войне

Я в Бога поверил на войне, - рассказывал мне дед, - и из-за одного человека. Звали Анатолий. Он служил в нашем танковом расчете с декабря 1941-го. Механиком. Парень был с Псковщины из городка Порхова. Он был весь спокойный, с виду неторопливый. И всегда крест на шее. Перед всяким боем он обязательно осенял себя крестным знамением.

Наш командир – Юра, яростный комсомолец, прямо видеть не мог ни крестика этого медного, ни крестного знамения.

- Ты что, из попов?! – так и налетал он на Анатолия. – И откуда вы, такие, беретесь? И как тебя только на фронт позвали? Ты же не наш человек!

Толя с обычным своим достоинством отвечал, не спеша с расстановкой: «Я наш, пскопской, русской, стало быть. И не из попов, а из крестьян. Верующая у меня бабушка, дай ей Бог здравия, она и воспитала в вере. А на фронте я – доброволец, ты же знаешь. Православные всегда за Отечество воевали».

Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кроме креста, было не за что - танкист был, как полагается. Когда в 42-м мы однажды едва не попали в окружение, помню, как Юрий нам всем сказал:

- Значит, если у немцев окажемся, всем приказ – застрелиться. Нельзя сдаваться!

Мы молчали, подавлено и напряженно, один Толя ответил, как всегда не торопясь: «Я стреляться не могу, этого греха Господь не прощает, самоубийства, стало быть»

- А если к немцам попадешь и предателем заделаешься? – зло бросил Юрий.

- Не заделаюсь, - ответил Толя. Слава Богу, мы тогда избежали окружения и плена…

В начале 1944-го, в Белоруссии, несколько экипажей получили приказ идти к узловой станции, где наша пехота уже несколько часов вела бой. Там застрял немецкий состав с боеприпасами – он тянулся на подмогу крупному соединению, что пыталось отбить у нас ключевую позицию... Бой был короткий. Две наши машины сразу запылали. Наш танк обогнул их и, на полном ходу, шел к уже видневшейся за деревьями станции, когда что-то шарахнуло по броне, и вдруг вспыхнул огонь внутри в кабине. …Танк встал. Мы с Толей выволокли самого молодого из нас, Володю, из люка, на землю опустили и отбежали с ним метров на сорок. Смотрим – мертвый. Бывает, что сразу видно… И тут Толя кричит: «А где командир?»

И верно, нету Юрия… А танк уже горит весь, полыхает. Толя перекрестился, бросил мне: «Прикрой!» - и назад. …Когда я подбежал к танку, он уже тащил Юрку вниз. Командир был жив, его просто сильно контузило и обожгло. Он почти ничего не видел. Но именно он, услыхав вдруг скрежет, … закричал: «Братцы, поезд! Прорывается!» … И вдруг мы услышали, как взревел и зарокотал наш танк… Танк горел весь, горел, как огромный факел. … Немцы, увидев несущийся на них огненный смерч, подняли беспорядочную стрельбу, но остановить Т-34 уже не смогли. Полыхая пламенем, танк на полном ходу врезался в передние вагоны немецкого состава. Помню, как лопнул воздух от адского грохота: это стали один за другим взрываться ящики со снарядами. … В медсанбате Юрка плакал, как мальчишка, и повторял хрипло кашляя: «Миша, слушай, а как же Бог-то? Ему же Тольке-то нельзя было себя убивать. Раз он верующий! Что же теперь будет-то!»

Спустя два года я приехал на Псковщину, в маленький Порхов. … Я нашел небольшую церковь. Там бабушку Толи и самого Толю помнили. Тамошний старенький батюшка благословлял его перед уходом на фронт. Этому батюшке я честно, как на духу рассказал всю Толину историю и как он погиб. Батюшка задумался, перекрестился, покачал головой. И по полному чину отпел раба Божия Анатолия, за Отечество и веру православную убиенного. Душу свою положившего за Отечество».

Марина Дружинина

Мой приятель – супермен

На уроке русского языка нас ожидал сюрприз.

- Диктанта сегодня не будет! - объявила Татьяна Евгеньевна. - Зато сейчас вы будете писать сочинение под условным названием "Мой друг". Надеюсь, вы отнесётесь к этому заданию ответственно и творчески. Итак, жду от вас кратких и ярких портретов друзей, одноклассников или просто знакомых!

"Напишу-ка про Петьку! - решил я. - Может, он не очень-то мне и друг, но что знакомый - это факт. Да и сидит прямо передо мной - очень уж удобно его описывать!"

В этот момент Петька как будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, и пошевелил ушами. Поэтому сочинение я начал так: "Мой друг здорово шевелит ушами..."

Описывать Петьку оказалось очень интересно. Я даже не заметил, как подошла Татьяна Евгеньевна.

- Вова, очнись! Все уже закончили работу!

- Я тоже закончил!

- А про кого это ты с таким упоением писал?

- Так, про одного человека из нашего класса, - загадочно ответил я.

- Прекрасно! - воскликнула учительница. - Читай вслух, а мы будем угадывать, кто этот человек.

- "Мой друг здорово шевелит ушами, - начал я. - Хотя они у него огромные, как лопухи, и с первого взгляда очень неповоротливые…"

- Да это же Пашка Ромашкин! - выкрикнула Людка Пустякова. - У него как раз такие уши!

- Вот и неправильно! - отрезал я и продолжал: - "Мой друг не любит учиться. Зато он очень любит поесть. В общем, прожорливый такой друг. Несмотря на это, он тощий и бледный. Плечики у друга узенькие, глазки маленькие и хитрые. Он очень невзрачный с виду - так, сутулая спичка в школьной форме. Или бледная поганка…"

- Тогда это Владик Гусев! Вон он какой тощий! - снова закричала Пустякова.

- А уши-то не сходятся! - закричали другие.

- Перестаньте шуметь! - вмешалась учительница. - Вова закончит, тогда и разберёмся.

- "Иногда мой друг бывает ужасно вредный, - прочитал я дальше. - А иногда не ужасно. Он обожает смеяться над другими. И зубы у него торчат в разные стороны. Как у вампира…"

- Ребята! Да это же сам Вовка! - вдруг завопил Петька. - Всё совпадает! И плечи! И вредный! И зубы торчат!

- Правильно! - подхватили другие ребята. - Вот так Вовка! Здорово сам себя описал!

Некоторые девчонки даже захлопали в ладоши.

- Раз все хором угадали, значит, действительно похож, - сказала учительница. - Но очень уж ты к себе критически относишься. Карикатуру какую-то изобразил!

- Да не я это! Ничего вы не понимаете! - Я прямо-таки взмок от возмущения. - Это Петька! Разве не ясно?!

Все захохотали, а Петька показал мне язык и запрыгал на стуле.

- Петя, уймись. Сейчас мы послушаем, что ты написал, - сказала Татьяна Евгеньевна. - А тебе, Вова, есть над чем подумать.

Я сел, а Петька встал. И провозгласил:

- "У моего друга безумно красивое лицо! Он потрясающе сложён, умён и силён. И это сразу заметно. У него длинные крепкие пальцы, стальные мускулы, толстая шея и широченные плечи. О голову моего друга можно запросто разбить кирпич. А друг и глазом не моргнёт. Только засмеётся. Мой друг знает всё на свете. Я люблю с ним поговорить о том о сём. То и дело мой друг приходит мне на помощь. И днём, и ночью!.."

- Вот это друг! - восхитилась Татьяна Евгеньевна. - Позавидуешь! Я бы сама не отказалась от такого супердруга! Ну-ка, ребята, быстренько: кто это?

Но мы ничего не понимали и недоумевающе переглядывались.

- А я знаю! Это Сильвестр Сталлоне! - неожиданно выпалила Пустякова.

Но никто не отреагировал на такую глупость: будет ещё Сталлоне с Петькой болтать о том о сём!

А Татьяна Евгеньевна всё же уточнила:

- А друг-то из этого класса?

- Из этого! - подтвердил Петька. И мы опять стали вытаращивать глаза и вертеться во все стороны.

- Ладно, Петя, сдаёмся! - наконец сказала учительница. - Кто же герой твоего рассказа?

Петька потупил глаза и застенчиво произнёс:

- Это я.

Марина Дружинина

Звоните, вам споют!

В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в это время, радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днём рождения, днём свадьбы или ещё с чем-нибудь знаменательным; рассказывали, какие они расчудесные, и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни.

— Ещё один звонок! — в очередной раз ликующе провозгласил диктор. — Алло! Мы слушаем вас! Кого будем поздравлять?

И тут... Я ушам своим не поверил! Раздался голос моего одноклассника Владьки:

— Это говорит Владислав Николаевич Гусев! Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика четвёртого класса «Б»! Он получил пятёрку по математике! Первую в этой четверти! И вообще первую! Передайте для него лучшую песню!

— Замечательное поздравление! — восхитился диктор. — Мы присоединяемся к этим тёплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая пятёрка была не последней в его жизни! А сейчас — «Дважды два — четыре»!

Заиграла музыка, а я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли — в честь меня песню поют! Ведь Ручкин — это я! Да ещё и Владимир! Да ещё и Петрович! И вообще, в четвёртом «Б» учусь! Всё совпадает! Всё, кроме пятёрки. Никаких пятёрок я не получал. Никогда. А в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное.

— Вовка! Неужели ты пятёрку получил?! — Мама выскочила из-за стола и бросилась меня обнимать-целовать. — Наконец-то! Я так мечтала об этом! Что же ты молчал? Скромный какой! А Владик-то — настоящий друг! Как за тебя радуется! Даже по радио поздравил! Пятёрочку надо отпраздновать! Я испеку что-нибудь вкусное! — Мама тут же замесила тесто и начала лепить пирожки, весело напевая: «Дважды два — четыре, дважды два — четыре».

Я хотел крикнуть, что Владик — не друг, а гад! Всё врёт! Никакой пятёрки не было! Но язык совершенно не поворачивался. Как я ни старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык!

— Молодец, сынок! — замахал газетой папа. — Покажи пятёрочку!

— У нас дневники собрали, — соврал я. — Может, завтра раздадут, или послезавтра...

— Ну ладно! Когда раздадут, тогда и полюбуемся! И пойдём в цирк! А сейчас я сбегаю за мороженым для всех нас! — Папа умчался как вихрь, а я кинулся в комнату, к телефону.

Трубку снял Владик.

— Привет! — хихикает. — Радио слушал?

— Ты что, совсем очумел? — зашипел я. — Родители тут голову потеряли из-за твоих дурацких шуток! А мне расхлёбывать! Где я им пятёрку возьму?

— Как это где? — серьёзно ответил Владик. — Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать.

Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне ещё оставалось?..

В общем, целых два часа мы решали примеры, задачи... И всё это вместо моего любимого триллера «Арбузы-людоеды»! Кошмар! Ну, Владька, погоди!

На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросила:

— Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?

Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку.

Первый раз в жизни.

— Ручкин? — удивилась Алевтина Васильевна. — Что ж, милости просим!

А потом... Потом случилось чудо. Я всё решил и объяснил правильно. И в моём дневнике заалела гордая пятёрка! Честное слово, я даже не представлял, что получать пятёрки так приятно! Кто не верит, пусть попробует...

В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали

передачу «Звоните, вам споют». Вдруг радиоприёмник опять затараторил Владькиным голосом:

— Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из четвёртого «Б» с пятёркой по русскому языку! Прошу передать для него лучшую песню!

Чего-о-о-о?! Только русского языка мне ещё не хватало! Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму — может, не расслышала. Но её глаза сияли.

— Какой же ты у меня умница! — счастливо улыбаясь, воскликнула мама.

Сергей Куцко

Волки

Так уж устроена деревенская жизнь, что если и до полудня не выйдешь в лес, не прогуляться по знакомым грибным да ягодным местам, то к вечеру и бежать нечего, всё попрячется.

Так рассудила и одна девушка. Солнце только поднялось до верхушек елей, а в руках уже полное лукошко, далеко забрела, но зато грибы какие! С благодарностью она посмотрела вокруг и только собралась было уходить, как дальние кусты неожиданно вздрогнули и на поляну вышел зверь, глаза его цепко следили за фигурой девушки.

— Ой, собака! — сказала она.

Где-то недалеко паслись коровы, и знакомство в лесу с пастушьей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с ещё несколькими парами звериных глаз ввела в оцепенение…

“Волки, — мелькнула мысль, — недалеко дорога, бежать…” Да силы исчезли, корзинка невольно выпала из рук, ноги стали ватными и непослушными.

— Мама! — этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. — Люди, помогите! — троекратно пронеслось над лесом.

Как потом рассказывали пастухи: “Мы слышали крики, думали, дети балуются…” Это в пяти километрах от деревни, в лесу!

Волки медленно подступали, впереди шла волчица. Бывает так у этих зверей — волчица становится во главе стаи. Только у неё глаза были не столь свирепы, сколь изучающи. Они словно вопрошали: “Ну что, человек? Что ты сделаешь сейчас, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей?”

Девушка упала на колени, закрыла глаза руками и заплакала. Внезапно к ней пришла мысль о молитве, словно что-то встрепенулось в душе, словно воскресли слова бабушки, памятные с детства: “Богородицу проси! ”

Девушка не помнила слов молитвы. Осеняя себя крёстным знамением, она просила Матерь Божию, словно свою маму, в последней надежде на заступничество и спасение.

...Когда она открыла глаза, волки, минуя кусты, уходили в лес. Впереди не спеша, опустив голову, шла волчица.

Владимир Железников

«Чучело»

Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе.

Мне бы надо остановиться и уйти.

Мальчишки набросились на меня.

«За ноги ее! — орал Валька. — За ноги!..»

Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я лягалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад.

Железная Кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой, вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: «ЧУЧЕЛО — ПРЕДАТЕЛЬ».

Ленка замолчала и как-то вся угасла.

Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил.

— А они веселились вокруг чучела, — сказала Ленка. — Прыгали и хохотали:

«Ух, наша красавица-а-а!»

«Дождалась!»

«Я придумала! Я придумала! — Шмакова от радости запрыгала. — Пусть Димка подожжет костер!..»

После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала: если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру.

А Валька в это время — он повсюду успевал первым — воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост.

«У меня спичек нет», — тихо сказал Димка.

«Зато у меня есть!» — Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу.

Димка стоял около чучела, низко опустив голову.

Я замерла — ждала в последний раз! Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата… Все я!»

«Поджигай!» — приказала Железная Кнопка.

Я не выдержала и закричала:

«Димка! Не надо, Димка-а-а-а!..»

А он по-прежнему стоял около чучела — мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому, что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий.

«Ну, Сомов! — сказала Железная Кнопка. — Иди же, наконец, до конца!»

Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону.

Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Дедушка! Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла.

Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня.

Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками — мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось!

Первым опомнился Димка.

«Ты что, очумела? — Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. — Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?»

Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками — только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр.

Они разбежались.

А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое.

Сначала я лежала с закрытыми глазами. Потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза — у чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву.

Потом до меня долетел голос Железной Кнопки.

Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина.

Лев Толстой

Лебеди

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, не отдыхая, летели над водою.

На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую воду.

Все лебеди уморились, махая крыльями; но они не останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее.

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл книзу. Он ближе и ближе спускался к воде; а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете. Лебедь спустился на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под ним и покачало его.

Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом небе. И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья.

Когда они совсем скрылись из вида, лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, и только море, поднимаясь и опускаясь широкой полосой, поднимало и опускало его.

Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь лебедя.

Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц и звёзды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и выше и полетел один над тёмными всколыхавшимися волнами.

Борис Васильев

«А зори здесь тихие…»

Монолог Лизы Бричкиной

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее поцеловала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

– А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то совсем уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги:

– Держи.

"Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием".

Подпись и адрес. И больше ничего – даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд…

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравились его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

– Неправда это!..

– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

– Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

"После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевой приказ и споем…"

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила – слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там… Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной…

Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее…

Екимов Борис

«Говори, мама, говори…»

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала:

загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…

Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

— Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох, как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.

— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…

Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.

Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.

Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.

Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.

Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”. Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то, слава Богу.

— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

— Это что за страсть такая… — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…

А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.

— Мама, слышишь меня?

— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?

— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.

— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.

Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг… — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не

возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…

— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.

— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…

— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.

На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…”

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

— Болят ваши косточки?..

Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

— Болят, моя доча…

— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…

— Болит ваша спина… — мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.

— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…

Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.

Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.

Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая… Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…

Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:

— Говори, мама, говори…

— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

— Говори, мама… — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори…

Владимир Тендряков

Хлеб для собаки

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у неё шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает… От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая…

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась… Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди… Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и… ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое… Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость

к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен… даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Виталий Закруткин

Матерь человеческая
(отрывок)

В эту сентябрьскую ночь небо вздрагивало, билось в частой дрожи, багряно светилось, отражая полыхавшие внизу пожары, и не было на нем видно ни луны, ни звезд. Над глухо гудящей землей громыхали ближние и дальние пушечные залпы. Все вокруг было залито неверным, тусклым медно-красным светом, отовсюду слышалось зловещее урчание, и со всех сторон наползали невнятные, пугающие шумы...

Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтоб не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе.

Она легла на живот, уткнулась лицом в сухую траву. Но долго лежать так ей было больно и неудобно - беременность давала о себе знать. Вдыхая горьковатый запах травы, она повернулась на бок, полежала немного, потом легла на спину. Вверху, оставляя огненный след, гудя и высвистывая, проносились реактивные снаряды, зелеными и красными стрелами пронзали небо трассирующие пули. Снизу, от хутора, тянулся тошнотворный, удушливый запах дыма и гари.

- Господи, - всхлипывая, шептала Мария, - пошли мне смерть, господи... Нет у меня больше сил... не могу я... пошли мне смерть, прошу тебя, боже...

Она поднялась, стала на колени, прислушалась. "Будь что будет, подумала она в отчаянии, - лучше помереть там, со всеми". Подождав немного, оглядываясь по сторонам, как затравленная волчица, и ничего не видя в алом, шевелящемся мраке, Мария поползла на край кукурузного поля. Отсюда, с вершины покатого, почти неприметного холма, хутор был хорошо виден. До него было километра полтора, не больше, и то, что увидела Мария, пронизало ее смертным холодом.

Все тридцать домов хутора горели. Колеблемые ветром косые языки пламени прорывались сквозь черные клубы дыма, вздымали к потревоженному небу густые россыпи огненных искр. По освещенной заревом пожара единственной хуторской улице неторопливо ходили немецкие солдаты с длинными пылающими факелами в руках. Они протягивали факелы к соломенным и камышовым крышам домов, сараев, курятников, не пропуская на своем пути ничего, даже самого завалящего катушка или собачьей конуры, и следом за ними вспыхивали новые космы огня, и к небу летели и летели красноватые искры.

Два сильных взрыва потрясли воздух. Они следовали один за другим на западной стороне хутора, и Мария поняла, что немцы взорвали новый кирпичный коровник, построенный колхозом перед самой войной.

Всех оставшихся в живых хуторян - их вместе с женщинами и детьми было человек сто - немцы выгнали из домов и собрали на открытом месте, за хутором, там, где летом был колхозный ток. На току, подвешенный на высоком столбе, раскачивался керосиновый фонарь. Его слабый, мигающий свет казался едва заметной точкой. Мария хорошо знала это место. Год тому назад, вскоре после начала войны, она вместе с женщинами из своей бригады ворошила на току зерно. Многие плакали, вспоминая

ушедших на фронт мужей, братьев, детей. Но война им казалась далекой, и не знали они тогда, что ее кровавый вал докатится до их неприметного, малого, затерянного в холмистой степи хутора. И вот в эту страшную сентябрьскую ночь на их глазах догорал родной хутор, а сами они, окруженные автоматчиками, стояли на току, словно отара бессловесных овец на тырле, и не знали, что их ждет...

Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она вскочила, хотела кинуться туда, на ток, но страх остановил ее. Попятившись, она снова приникла к земле, впилась зубами в руки, чтобы заглушить рвущийся из груди истошный крик. Так Мария лежала долго, по-детски всхлипывая, задыхаясь от едкого, ползущего на холм дыма.

Хутор догорал. Стали стихать орудийные залпы. В потемневшем небе послышался ровный гул летящих куда-то тяжелых бомбардировщиков. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач и короткие, злые выкрики немцев. Сопровождаемая солдатами-автоматчиками нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Дорога пролегала вдоль кукурузного поля совсем близко, метрах в сорока.

Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. "Куда ж они их гонят? - билась в ее воспаленном мозгу лихорадочная мысль. - Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинные женщины..." Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. Три женщины несли на руках грудных детей. Мария узнала их. Это были две ее соседки, молодые солдатки, мужья которых ушли на фронт перед самым приходом немцев, а третья - эвакуированная учительница, она родила дочку уже здесь, на хуторе. Дети повзрослее ковыляли по дороге, держась за подолы материнских юбок, и Мария узнала и матерей и детей... Неуклюже прошагал на своих самодельных костылях дядя Корней, ногу ему отняли еще в ту германскую войну. Поддерживая друг друга, шли двое ветхих стариков-вдовцов, дед Кузьма и дед Никита. Они каждое лето сторожили колхозную бахчу и не раз угощали Марию сочными, прохладными арбузами. Хуторяне шли тихо, и лишь только кто-нибудь из женщин начинал громко, навзрыд плакать, к ней тотчас же подходил немец в каске, ударами автомата сбивал ее с ног. Толпа останавливалась. Ухватив упавшую женщину за ворот, немец поднимал ее, быстро и сердито лопотал что-то, указывая рукой вперед...

Всматриваясь в странный светящийся полумрак, Мария узнавала почти всех хуторян. Они шли с корзинками, с ведрами, с мешками за плечами, шли, повинуясь коротким окрикам автоматчиков. Никто из них не говорил ни слова, в толпе слышался только плач детей. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль:

- Сволочи! Пала-а-чи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии! Не буду вашей батрачкой, гады!

Мария узнала голос. Кричала пятнадцатилетняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. До войны Саня училась в седьмом классе, проживала в школьном интернате в далеком районном центре, но школа уже год не работала, Саня приехала к матери и осталась на хуторе.

- Санечка, чего это ты? Замолчи, доченька! - запричитала мать. Прошу тебя, замолчи! Убьют они тебя, деточка моя!

- Не буду молчать! - еще громче крикнула Саня. - Пускай убивают, бандиты проклятые!

Мария услышала короткую автоматную очередь. Хрипло заголосили женщины. Лающими голосами закаркали немцы. Толпа хуторян стала удаляться и скрылась за вершиной холма.

На Марию навалился липкий, холодный страх. "Это Саню убили", молнией обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. За перелеском, восточное хутора, то здесь, то там вспыхивали осветительные ракеты. Они повисали в воздухе, освещая мертвым желтоватым светом изуродованную землю, а через две-три минуты, истекая огненными каплями, гасли. На востоке, в трех километрах от хутора, проходил передний край немецкой обороны. Вместе с другими хуторянами Мария была там: немцы гоняли жителей рыть окопы и ходы сообщения. Извилистой линией они вились по восточному склону холма. Уже много месяцев, страшась темноты, немцы по ночам освещали линию своей обороны ракетами, чтобы вовремя заметить цепи атакующих советских солдат. А советские пулеметчики - Мария не раз видела это трассирующими пулями расстреливали вражеские ракеты, рассекали их, и они, угасая, падали на землю. Так было и сейчас: со стороны советских окопов затрещали пулеметы, и зеленые черточки пуль устремились к одной ракете, ко второй, к третьей и погасили их...

"Может, Саня живая? - подумала Мария. Может, ее только ранили и она, бедненькая, лежит на дороге, истекает кровью?" Выйдя из гущины кукурузы, Мария осмотрелась. Вокруг - никого. По холму тянулся пустой затравевший проселок. Хутор почти догорел, лишь кое-где еще вспыхивало пламя, да над пепелищем мельтешили искры. Прижимаясь к меже на краю кукурузного поля, Мария поползла к тому месту, откуда, как ей казалось, она слышала крик Сани и выстрелы. Ползти было больно и трудно. На меже сбились согнанные ветрами жесткие кусты перекати-поля, они кололи коленки и локти, а Мария была босиком, в одном старом ситцевом платье. Так, раздетой, она минувшим утром, на рассвете, убежала с хутора и теперь проклинала себя за то, что не взяла пальто, платок и не надела чулки и туфли.

Ползла она медленно, полуживая от страха. Часто останавливалась, вслушивалась в глухие, утробные звуки дальней стрельбы и снова ползла. Ей казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение.

Саню она нашла там, где и думала. Девочка лежала, распростертая, в кювете, раскинув худые руки и неудобно подогнув под себя босую левую ногу. Еле различая в зыбком мраке ее тело, Мария прижалась к ней, щекой ощутила липкую влажность на теплом плече, приложила ухо к маленькой, острой груди. Сердце девочки билось неровно: то замирало, то колотилось в порывистых толчках. "Живая!" - подумала Мария.

Оглядевшись, она поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Она спотыкалась, дышала хрипло, боясь, что вот сейчас уронит Саню, упадет и больше не поднимется. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустилась на колени и потеряла сознание...

Очнулась она от надрывного стона Сани. Девочка лежала под ней, захлебываясь от заполнившей рот крови. Кровь залила лицо Марии. Она вскочила, подолом платья протерла глаза, прилегла рядом с Саней, приникла к ней всем телом.

- Саня, деточка моя, - шептала Мария, давясь слезами, - открой глазки, дите мое бедное, сиротиночка моя... Открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко...

Дрожащими руками Мария оторвала кусок своего платья, приподняла Санину голову, стала вытирать клочком застиранного ситца рот и лицо девочки. Прикасалась к ней бережно, целовала солоноватый от крови лоб, теплые щеки, тонкие пальцы покорных, безжизненных рук.

В груди у Сани хрипело, хлюпало, клокотало. Поглаживая ладонью детские, с угловатыми колонками ноги девочки, Мария с ужасом почувствовала, как холодеют под ее рукой узкие ступни Сани.

- Прокинься, деточка, - стала молить она Саню. - Прокинься, голубочка... Не умирай, Санечка... Не оставляй меня одну... Это я с тобой, тетя Мария. Слышишь, деточка? Мы же с тобой только двое остались, только двое...

Над ними однообразно шелестела кукуруза. Утихли пушечные залпы. Потемнело небо, лишь где-то далеко, за лесом, еще содрогались красноватые отсветы пламени. Наступил тот предутренний час, когда убивающие друг друга тысячи людей - и те, кто, подобно серому смерчу, несся на восток, и те, кто грудью своей сдерживал движение смерча, уморились, устали корежить землю минами и снарядами и, одуревшие от грохота, дыма и копоти, прекратили страшную свою работу, чтобы отдышаться в окопах, отдохнуть немного и вновь начать трудную, кровавую жатву...

Саня умерла на рассвете. Как ни старалась Мария согреть смертельно раненную девочку своим телом, как ни прижималась к ней горячей своей грудью, как ни обнимала ее - ничего не помогло. Похолодели Санины руки и ноги, замолкло хриплое клокотание в горле, и вся она стала застывать.

Мария закрыла Сане чуть приоткрытые веки, сложила на груди исцарапанные, со следами крови и лиловых чернил на пальцах, одеревеневшие руки и молча села рядом с мертвой девочкой. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии - смерть мужа и малого сына, два дня назад повешенных немцами на старой хуторской яблоне, - как бы уплыло, заволоклось туманом, сникло перед лицом этой новой смерти, и Мария, пронзенная острой внезапной мыслью, поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной, широкой реке горя людского, черной, озаренной пожарами реке, которая, затапливая, руша берега, разливалась все шире и шире и все быстрее стремилась туда, на восток, отдаляя от Марии то, чем она жила на этом свете все свои недолгие двадцать девять лет...

Драгунский В.

Тайное становится явным

Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то:

- Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спросил:

- Что это значит, мама: «Тайное становится явным»?

- А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание, - сказала мама. - Понял?.. Ложись-ка спать!

Я вычистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это было еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.

- Ешь! - сказала мама. - Безо всяких разговоров!

Я сказал:

- Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

- Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен поправиться.

Я сказал:

- Я ею давлюсь!

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:

- Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?

Ну еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:

- Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!

Тогда мама улыбнулась:

- Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни - ты должен съесть все до дна!

И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал - ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно.

Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она сразу посмотрела на тарелку и обрадовалась:

- Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль! - И она меня поцеловала.

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:

- Здравствуйте! - и подбежал к окну, и поглядел вниз. - А еще интеллигентный человек.

- Что вам нужно? - строго спросила мама.

- Как не стыдно! - Милиционер даже стал по стойке «смирно». - Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!

- Не клевещите. Ничего я не выливаю!

- Ах, не выливаете?! - язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв дверь в коридор, крикнул: - Пострадавший!

И вот к нам вошел какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал мекать:

- Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... мм... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то... жжет... Как же я пошлю свое... мм... фото, когда я весь в каше?!

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.

- Извините, пожалуйста, - сказала она тихо, - разрешите, я вас почищу, пройдите сюда!

И они все трое вышли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:

- Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:

- Ты это запомнил на всю жизнь? И я ответил:

- Да.

Лидия Чарская

Записки маленькой гимназистки

Отрывок из повести

Глава II

Моя мамочка

Была у меня мамочка, ласковая, добрая, милая. Жили мы с мамочкой в маленьком домике на берегу Волги. Домик был такой чистый и светленький, а из окон нашей квартиры видно было и широкую, красивую Волгу, и огромные двухэтажные пароходы, и барки, и пристань на берегу, и толпы гуляющих, выходивших в определенные часы на эту пристань встречать приходящие пароходы... И мы с мамочкой ходили туда, только редко, очень редко: мамочка давала уроки в нашем городе, и ей нельзя было гулять со мною так часто, как бы мне хотелось. Мамочка говорила:

- Подожди, Ленуша, накоплю денег и прокачу тебя по Волге от нашего Рыбинска вплоть до самой Астрахани! Вот тогда-то нагуляемся вдоволь.

Я радовалась и ждала весны.

К весне мамочка прикопила немножко денег, и мы решили с первыми же теплыми днями исполнить нашу затею.

- Вот как только Волга очистится от льда, мы с тобой и покатим! - говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове.

Но когда лед тронулся, она простудилась и стала кашлять. Лед прошел, Волга очистилась, а мамочка все кашляла и кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькая и прозрачная, как воск, и все сидела у окна, смотрела на Волгу и твердила:

- Вот пройдет кашель, поправлюсь немного, и покатим мы с тобою до Астрахани, Ленуша!

Но кашель и простуда не проходили; лето было сырое и холодное в этом году, и мамочка с каждым днем становилась все худее, бледнее и прозрачнее.

Наступила осень. Подошел сентябрь. Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, улетающих в теплые страны. Мамочка уже не сидела больше у окна в гостиной, а лежала на кровати и все время дрожала от холода, в то время как сама была горячая как огонь.

Раз она подозвала меня к себе и сказала:

- Слушай, Ленуша. Твоя мама скоро уйдет от тебя навсегда... Но ты не горюй, милушка. Я всегда буду смотреть на тебя с неба и буду радоваться на добрые поступки моей девочки, а...

Я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала также, а глаза у нее стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела на большом образе в нашей церкви.

Успокоившись немного, мамочка снова заговорила:

- Я чувствую, Господь скоро возьмет меня к Себе, и да будет Его святая воля! Будь умницей без мамы, молись Богу и помни меня... Ты поедешь жить к твоему дяде, моему родному брату, который живет в Петербурге... Я писала ему о тебе и просила приютить сиротку...

Что-то больно-больно при слове "сиротка" сдавило мне горло...

Я зарыдала, заплакала и забилась у маминой постели. Пришла Марьюшка (кухарка, жившая у нас целые девять лет, с самого года моего рождения, и любившая мамочку и меня без памяти) и увела меня к себе, говоря, что "мамаше нужен покой".

Вся в слезах уснула я в эту ночь на Марьюшкиной постели, а утром... Ах, что было утром!..

Я проснулась очень рано, кажется, часов в шесть, и хотела прямо побежать к мамочке.

В эту минуту вошла Марьюшка и сказала:

- Молись Богу, Леночка: Боженька взял твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка.

- Умерла мамочка! - как эхо повторила я.

И вдруг мне стало так холодно-холодно! Потом в голове у меня зашумело, и вся комната, и Марьюшка, и потолок, и стол, и стулья - все перевернулось и закружилось в моих глазах, и я уже не помню, что сталось со мною вслед за этим. Кажется, я упала на пол без чувств...

Очнулась я тогда, когда уже мамочка лежала в большом белом ящике, в белом платье, с белым веночком на голове. Старенький седенький священник читал молитвы, певчие пели, а Марьюшка молилась у порога спальни. Приходили какие-то старушки и тоже молились, потом глядели на меня с сожалением, качали головами и шамкали что-то беззубыми ртами...

- Сиротка! Круглая сиротка! - тоже покачивая головой и глядя на меня жалостливо, говорила Марьюшка и плакала. Плакали и старушки...

На третий день Марьюшка подвела меня к белому ящику, в котором лежала мамочка, и велела поцеловать мне мамочкину руку. Потом священник благословил мамочку, певчие запели что-то очень печальное; подошли какие-то мужчины, закрыли белый ящик и понесли его вон из нашего домика...

Я громко заплакала. Но тут подоспели знакомые мне уже старушки, говоря, что мамочку несут хоронить и что плакать не надо, а надо молиться.

Белый ящик принесли в церковь, мы отстояли обедню, а потом снова подошли какие-то люди, подняли ящик и понесли его на кладбище. Там уже была вырыта глубокая черная яма, куда и опустили мамочкин гроб. Потом яму забросали землею, поставили над нею белый крестик, и Марьюшка повела меня домой.

По дороге она говорила мне, что вечером повезет меня на вокзал, посадит в поезд и отправит в Петербург к дяде.

- Я не хочу к дяде, - проговорила я угрюмо, - не знаю никакого дяди и боюсь ехать к нему!

Но Марьюшка сказала, что стыдно так говорить большой девочке, что мамочка слышит это и что ей больно от моих слов.

Тогда я притихла и стала припоминать лицо дяди.

Я никогда не видела моего петербургского дяди, но в мамочкином альбоме был его портрет. Он был изображен на нем в золотом шитом мундире, со множеством орденов и со звездою на груди. У него был очень важный вид, и я его невольно боялась.

После обеда, к которому я едва притронулась, Марьюшка уложила в старый чемоданчик все мои платья и белье, напоила меня чаем и повезла на вокзал.

Лидия Чарская

Записки маленькой гимназистки
Отрывок из повести
Глава XXI
Под шум ветра и свист метелицы

Ветер свистел, визжал, кряхтел и гудел на разные лады. То жалобным тоненьким голоском, то грубым басовым раскатом распевал он свою боевую песенку. Фонари чуть заметно мигали сквозь огромные белые хлопья снега, обильно сыпавшиеся на тротуары, на улицу, на экипажи, лошадей и прохожих. А я все шла и шла, все вперед и вперед...

Нюрочка мне сказала:

"Надо пройти сначала длинную большую улицу, на которой такие высокие дома и роскошные магазины, потом повернуть направо, потом налево, потом опять направо и опять налево, а там все прямо, прямо до самого конца - до нашего домика. Ты его сразу узнаешь. Он около самого кладбища, тут еще церковь белая... красивая такая".

Я так и сделала. Шла все прямо, как мне казалось, по длинной и широкой улице, но ни высоких домов, ни роскошных магазинов я не видала. Все заслонила от моих глаз белая, как саван, живая рыхлая стена бесшумно падающего огромными хлопьями снега. Я повернула направо, потом налево, потом опять направо, исполняя все с точностью, как говорила мне Нюрочка, - и все шла, шла, шла без конца.

Ветер безжалостно трепал полы моего бурнусика, пронизывая меня холодом насквозь. Хлопья снега били в лицо. Теперь я уже шла далеко не с той быстротой, как раньше. Ноги мои точно свинцом налились от усталости, все тело дрожало от холода, руки закоченели, и я едва-едва двигала пальцами. Повернув чуть ли не в пятый раз направо и налево, я пошла теперь по прямому пути. Тихо, чуть заметно мерцающие огоньки фонарей попадались мне все реже и реже... Шум от езды конок и экипажей на улицах значительно утих, и путь, по которому я шла, показался мне глухим и пустынным.

Наконец снег стал редеть; огромные хлопья не так часто падали теперь. Даль чуточку прояснела, но вместо этого кругом меня воцарились такие густые сумерки, что я едва различала дорогу.

Теперь уже ни шума езды, ни голосов, ни кучерских возгласов не слышалось вокруг меня.

Какая тишина! Какая мертвая тишина!..

Но что это?

Глаза мои, уже привыкшие к полутьме, теперь различают окружающее. Господи, да где же я?

Ни домов, ни улиц, ни экипажей, ни пешеходов. Передо мною бесконечное, огромное снежное пространство... Какие-то забытые здания по краям дороги... Какие-то заборы, а впереди что-то черное, огромное. Должно быть, парк или лес - не знаю.

Я обернулась назад... Позади меня мелькают огоньки... огоньки... огоньки... Сколько их! Без конца... без счета!

- Господи, да это город! Город, конечно! - восклицаю я. - А я ушла на окраину...

Нюрочка говорила, что они живут на окраине. Ну да, конечно! То, что темнеет вдали, это и есть кладбище! Там и церковь, и, не доходя, домик их! Все, все так и вышло, как она говорила. А я-то испугалась! Вот глупенькая!

И с радостным одушевлением я снова бодро зашагала вперед.

Но не тут-то было!

Ноги мои теперь едва повиновались мне. Я еле-еле передвигала их от усталости. Невероятный холод заставлял меня дрожать с головы до ног, зубы стучали, в голове шумело, и что-то изо всей силы ударяло в виски. Ко всему этому прибавилась еще какая-то странная сонливость. Мне так хотелось спать, так ужасно хотелось спать!

"Ну, ну, еще немного - и ты будешь у твоих друзей, увидишь Никифора Матвеевича, Нюру, их маму, Сережу!" - мысленно подбадривала я себя, как могла...

Но и это не помогало.

Ноги едва-едва передвигались, я теперь с трудом вытаскивала их, то одну, то другую, из глубокого снега. Но они двигаются все медленнее, все... тише... А шум в голове делается все слышнее и слышнее, и все сильнее и сильнее что-то бьет в виски...

Наконец я не выдерживаю и опускаюсь на сугроб, образовавшийся на краю дороги.

Ах, как хорошо! Как сладко отдохнуть так! Теперь я не чувствую ни усталости, ни боли... Какая-то приятная теплота разливается по всему телу... Ах, как хорошо! Так бы и сидела здесь и не ушла никуда отсюда! И если бы не желание узнать, что сделалось с Никифором Матвеевичем, и навестить его, здорового или больного, - я бы непременно уснула здесь часок-другой... Крепко уснула! Тем более что кладбище недалеко... Вон оно видно. Верста-другая, не больше...

Снег перестал идти, метель утихла немного, и месяц выплыл из-за облаков.

О, лучше бы не светил месяц и я бы не знала по крайней мере печальной действительности!

Ни кладбища, ни церкви, ни домиков - ничего нет впереди!.. Один только лес чернеет огромным черным пятном там далеко, да белое мертвое поле раскинулось вокруг меня бесконечной пеленой...

Ужас охватил меня.

Теперь только поняла я, что заблудилась.

Пауло Коэльо

Притча «Секрет счастья»

Один торговец отправил своего сына узнать Секрет Счастья у самого мудрого из всех людей. Юноша сорок дней шёл через пустыню и,

наконец, подошёл к прекрасному замку, стоявшему на вершине горы. Там и жил мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой встречи с мудрым человеком наш герой попал в залу, где всё бурлило: торговцы входили и выходили, в углу разговаривали люди, небольшой оркестр играл сладкие мелодии и стоял стол, уставленный самыми изысканными кушаньями этой местности. Мудрец беседовал с разными людьми, и юноше пришлось около двух часов дожидаться своей очереди.

Мудрец внимательно выслушал объяснения юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет времени, чтобы раскрыть ему Секрет Счастья. И предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через два часа.

— Однако я хочу попросить об одном одолжении, — добавил мудрец, протягивая юноше маленькую ложечку, в которую он капнул две капли масла. — Всё время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось.

Юноша начал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, не спуская глаз с ложечки. Через два часа он вернулся к мудрецу.

— Ну как, — спросил тот, — ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой? Ты видел парк, который главный садовник создавал в течение десяти лет? Ты заметил прекрасные пергаменты в моей библиотеке?

Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не пролить капли масла, которые доверил ему мудрец.

— Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей Вселенной, — сказал ему мудрец. — Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живёт.

Успокоенный, юноша взял ложечку и снова пошёл на прогулку по дворцу; на этот раз, обращая внимание на все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он увидел сады, окружённые горами, нежнейшие цветы, утончённость, с которой каждое из произведений искусства было помещено именно там, где нужно.

Вернувшись к мудрецу, он подробно описал всё, что видел.

— А где те две капли масла, которые я тебе доверил? — спросил Мудрец.

И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что всё масло вылилось.

— Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать: Секрет Счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, при этом никогда не забывая о двух каплях масла в своей ложечке.

Леонардо да Винчи

Притча «Невод»

И вновь в который раз невод принес богатый улов. Корзины рыбаков были доверху наполнены головлями, карпами, линями, щуками, угрями и множеством другой снеди. Целые рыбьи семьи,

с чадами и домочадцами, были вывезены на рыночные прилавки и готовились окончить свое существование, корчась в муках на раскаленных сковородах и в кипящих котлах.

Оставшиеся в реке рыбы, растерянные и охваченные страхом, не осмеливаясь даже плавать, зарылись поглубже в ил. Как жить дальше? В одиночку с неводом не совладать. Его ежедневно забрасывают в самых неожиданных местах. Он беспощадно губит рыб, и в конце концов вся река будет опустошена.

- Мы должны подумать о судьбе наших детей. Никто, кроме нас, не позаботится о них и не избавит от страшного наваждения,- рассуждали пескари, собравшиеся на совет под большой корягой.

- Но что мы можем предпринять?- робко спросил линь, прислушиваясь к речам смельчаков.

- Уничтожить невод! - в едином порыве ответили пескари. В тот же день всезнающие юркие угри разнесли по реке весть

о принятом смелом решении. Всем рыбам от мала до велика предлагалось собраться завтра на рассвете в глубокой тихой заводи, защищенной развесистыми ветлами.

Тысячи рыб всех мастей и возрастов приплыли в условленное место, чтобы объявить неводу войну.

- Слушайте все внимательно! - сказал карп, которому не раз удавалось перегрызть сети и бежать из плена.- Невод шириной с нашу реку. Чтобы он держался стоймя под водой, к его нижним узлам прикреплены свинцовые грузила. Приказываю всем рыбам разделиться на две стаи. Первая должна поднять грузила со дна на поверхность, а вторая стая будет крепко держать верхние узлы сети. Щукам поручается перегрызть веревки, коими невод крепится к обоим берегам.

Затаив дыхание, рыбы внимали каждому слову предводителя.

- Приказываю угрям тотчас отправиться на разведку! - продолжал карп.- Им надлежит установить, куда заброшен невод.

Угри отправились на задание, а рыбьи стаи сгрудились у берега в томительном ожидании. Пескари тем временем старались ободрить самых робких и советовали не поддаваться панике, даже если кто угодит в невод: ведь рыбакам все равно не удастся вытащить его на берег.

Наконец угри возвратились и доложили, что невод уже заброшен примерно на расстоянии одной мили вниз по реке.

И вот огромной армадой рыбьи стаи поплыли к цели, ведомые мудрым карпом.

- Плывите осторожно!- предупреждал вожак.- Глядите в оба, чтобы течение не затащило в сети. Работайте вовсю плавниками и вовремя тормозите!

Впереди показался невод, серый и зловещий. Охваченные порывом гнева, рыбы смело ринулись в атаку.

Вскоре невод был приподнят со дна, державшие его веревки перерезаны острыми щучьими зубами, а узлы порваны. Но разъяренные рыбы на этом не успокоились и продолжали набрасываться на ненавистного врага. Ухватившись зубами за искалеченный дырявый невод и усиленно работая плавниками и хвостами, они тащили его в разные стороны и рвали на мелкие клочья. Вода в реке, казалось, кипела.

Рыбаки еще долго рассуждали, почесывая затылки, о таинственном исчезновении невода, а рыбы до сих пор с гордостью рассказывают эту историю своим детям.

Леонардо да Винчи

Притча «Пеликан»

Как только пеликан отправился на поиски корма, сидевшая в засаде гадюка тут же поползла, крадучись, к его гнезду. Пушистые птенцы мирно спали, ни о чем не ведая. Змея подползла к ним вплотную. Глаза ее сверкнули зловещим блеском - и началась расправа.

Получив по смертельному укусу, безмятежно спавшие птенцы так и не проснулись.

Довольная содеянным злодейка уползла в укрытие, чтобы оттуда вдоволь насладиться горем птицы.

Вскоре вернулся с охоты пеликан. При виде зверской расправы, учиненной над птенцами, он разразился громкими рыданиями, и все обитатели леса притихли, потрясенные неслыханной жестокостью.

- Без вас нет мне теперь жизни!- причитал несчастный отец, смотря на мертвых детишек.- Пусть я умру вместе с вами!

И он начал клювом раздирать себе грудь у самого сердца. Горячая кровь ручьями хлынула из разверзшейся раны, окропляя бездыханных птенцов.

Теряя последние силы, умирающий пеликан бросил прощальный взгляд на гнездо с погибшими птенцами и вдруг от неожиданности вздрогнул.

О чудо! Его пролитая кровь и родительская любовь вернули дорогих птенцов к жизни, вырвав их из лап смерти. И тогда, счастливый, он испустил дух.

Сергей Силин

Везунчик

Антошка бежал по улице, засунув руки в карманы куртки, споткнулся и, падая, успел подумать: «Нос разобью!» Но вытащить руки из карманов не успел.

И вдруг прямо перед ним неизвестно оттуда возник маленький крепкий мужичок величиной с кота.

Мужичок вытянул руки и принял на них Антошку, смягчая удар.

Антошка перекатился на бок, привстал на одно колено и удивлённо посмотрел на мужичка:

– Вы кто?

– Везунчик.

– Кто-кто?

– Везунчик. Я буду заботиться о том, чтобы тебе везло.

– Везунчик у каждого человека есть? – поинтересовался Антошка.

– Нет, нас не так много, – ответил мужичок. – Мы просто переходим от одного к другому. С сегодняшнего дня я буду с тобой.

– Мне начинает везти! – обрадовался Антошка.

– Точно! – кивнул Везунчик.

– А когда вы уйдёте от меня к другому?

– Когда потребуется. Одному купцу я, помнится, несколько лет служил. А одному пешеходу помогал всего две секунды.

– Ага! – задумался Антошка. – Значит, мне надо

что-нибудь пожелать?

– Нет, нет! – протестующе поднял руки мужичок. – Я не исполнитель желаний! Я лишь немного помогаю сообразительным и трудолюбивым. Просто нахожусь рядом и делаю так, чтобы человеку везло. Куда это моя кепка-невидимка запропастилась?

Он пошарил руками вокруг себя, нащупал кепку-невидимку, надел её и исчез.

– Вы здесь? – на всякий случай спросил Антошка.

– Здесь, здесь – отозвался Везунчик. – Не обращай на

меня внимания. Антошка засунул руки в карманы и побежал домой. И надо же, повезло: успел к началу мультфильма минута в минуту!

Через час вернулась с работы мама.

– А я премию получила! – сказала она с улыбкой. –

Пройдусь-ка по магазинам!

И она ушла в кухню за пакетами.

– У мамы тоже Везунчик появился? – шёпотом спросил своего помощника Антошка.

– Нет. Ей везёт, потому что мы рядом.

– Мам, я с тобой! – крикнул Антошка.

Через два часа они вернулись домой с целой горой покупок.

– Просто полоса везения! – удивлялась мама, блестя глазами. – Всю жизнь о такой кофточке мечтала!

– А я о таком пирожном! – весело отозвался Антошка из ванной.

На следующий день в школе он получил три пятёрки, две четвёрки, нашёл два рубля и помирился с Васей Потеряшкиным.

А когда, насвистывая, вернулся домой, то обнаружил, что потерял ключи от квартиры.

– Везунчик, ты где? – позвал он.

Из-под лестницы выглянула крохотная неряшливая женщина. Волосы у неё были растрёпаны, нос грязный рукав порван, башмаки просили каши.

– А свистеть не надо было! – улыбнулась она и добавила: – Невезуха я! Что, расстроился, да?..

Да ты не переживай, не переживай! Придёт время, меня от тебя отзовут!

– Ясно, – приуныл Антошка. – Начинается полоса невезения…

– Это точно! – радостно кивнула Невезуха и, шагнув в стену, исчезла.

Вечером Антошка получил нагоняй от папы за потерянный ключ, нечаянно разбил мамину любимую чашку, забыл, что задали по русскому языку, и не смог дочитать книгу сказок, потому что оставил её в школе.

А перед самым окном раздался телефонный звонок:

– Антошка, это ты? Это я, Везунчик!

– Привет, предатель! – буркнул Антошка. – И кому же ты сейчас помогаешь?

Но Везунчик на «предателя» ни капельки не обиделся.

– Одной старушке. Представляешь, ей всю жизнь не везло! Вот мой начальник меня к ней и направил.

Завра я помогу ей выиграть миллион рублей в лотерею, и вернусь к тебе!

– Правда? – обрадовался Антошка.

– Правда, правда, – ответил Везунчик и повесил трубку.

Ночью Антошке приснился сон. Будто они с Везунчиком тащат из магазина четыре авоськи любимых Антошкиных мандаринов, а из окна дома напротив им улыбается одинокая старушка, которой повезло первый раз в жизни.

Чарская Лидия Алексеевна

Люсина жизнь
Царевна Мигуэль

"Далеко, далеко, на самом конце света находилось большое прекрасное синее озеро, похожее своим цветом на огромный сапфир. Посреди этого озера на зеленом изумрудном острове, среди мирт и глициний, перевитая зеленым плющом и гибкими лианами, стояла высокая скала. На ней красовался мраморный дворец, позади которого был разбит чудесный сад, благоухающий ароматом. Это был совсем особенный сад, который можно встретить разве в одних только сказках.

Владельцем острова и прилегавших к нему земель был могущественный царь Овар. А у царя росла во дворце дочь, красавица Мигуэль -- царевна"...

Пестрою лентой плывет и развертывается сказка. Клубится перед моим духовным взором ряд красивых, фантастических картин. Обычно звонкий голосок тети Муси теперь понижен до шепота. Таинственно и уютно в зеленой плющевой беседке. Кружевная тень окружающих ее деревьев и кустов, бросают подвижные пятна на хорошенькое личико юной рассказчицы. Эта сказка -- моя любимая. Со дня ухода от нас моей милой нянечки Фени, умевшей так хорошо рассказывать мне про девочку Дюймовочку, я слушаю с удовольствием единственную только сказку о царевне Мигуэль. Я люблю нежно мою царевну, несмотря на всю ее жестокость. Разве она виновата, эта зеленоглазая, нежно-розовая и златокудрая царевна, что при появлении ее на свет Божий, феи вместо сердца вложили кусочек алмаза в ее детскую маленькую грудь? И что прямым следствием этого было полное отсутствие жалости в душе царевны. Но зато, как она была прекрасна! Прекрасна даже в те минуты, когда движением белой крошечной ручки посылала людей на лютую смерть. Тех людей, которые нечаянно попадали в таинственный сад царевны.

В том саду среди роз и лилий находились маленькие дети. Неподвижные хорошенькие эльфы прикованные серебряными цепями к золотым колышкам, они караулили тот сад, и в то же время жалобно звенели своими голосами-колокольчиками.

-- Отпусти нас на волю! Отпусти, прекрасная царевна Мигуэль! Отпусти нас! -- Их жалобы звучали как музыка. И эта музыка приятно действовала на царевну, и она частенько смеялась над мольбами своих маленьких пленников.

Зато их жалобные голоса трогали сердца проходивших мимо сада людей. И те заглядывали в таинственный сад царевны. Ах, не на радость появлялись они здесь! При каждом таком появлении непрошенного гостя, стража выбегала, хватала посетителя и по приказанию царевны сбрасывали его в озеро со скалы

А царевна Мигуэль смеялась только в ответ на отчаянные вопли и стоны тонувших...

Я никак не могу понять еще и теперь, каким образом пришла в голову моей хорошенькой жизнерадостной тетки такая страшная по существу, такая мрачная и тяжелая сказка! Героиня этой сказки -- царевна Мигуэль, конечно, была выдумкою милой, немного ветреной, но очень добренькой тети Муси. Ах, все равно, пусть все думают, что выдумка эта сказка, выдумка и самая царевна Мигуэль, но она, моя дивная царевна, прочно водворилась в моем впечатлительном сердце... Существовала она когда-нибудь или нет, какое мне до этого в сущности было дело, когда я любила ее, мою прекрасную жестокую Мигуэль! Я видела ее во сне и не однажды, видела ее золотистые волосы цвета спелого колоса, ее зеленые, как лесной омут, глубокие глаза.

В тот год мне минуло шесть лет. Я уже разбирала склады и при помощи тети Муси писала вместо палочек корявые, вкось и вкривь идущие буквы. И я уже понимала красоту. Сказочную красоту природы: солнца, леса, цветов. И мой взгляд загорался восторгом при виде красивой картинки или изящной иллюстрации на странице журнала.

Тетя Муся, папа и бабушка старались с моего самого раннего возраста развить во мне эстетический вкус, обращая мое внимание на то, что для других детей проходило бесследным.

-- Смотри, Люсенька, какой красивый закат! Ты видишь, как чудесно тонет в пруду багряное солнце! Гляди, гляди, теперь совсем алой стала вода. И окружающие деревья словно охвачены пожаром.

Я смотрю и вся закипаю восторгом. Действительно, алая вода, алые деревья и алое солнце. Какая красота!

Юрий Яковлев

Девочки с Васильевского острова

Я Валя Зайцева с Васильевского острова.

У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками... Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо...

У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.

Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.

Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.

Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением...» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.

Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, и дорога, названная Дорогой жизни, не смогла подарить Тане жизнь.

Девочка умерла от голода... Не все ли равно отчего умирать — от голода или от пули. Может быть, от голода еще больнее...

Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.

Какие-то взрослые спросили меня:

— Ты кто такая?

— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.

Мне сказали:

— Нельзя! Приходи со своим районом.

Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него:

— Он тоже пришел со своим районом?

— Он пришел с братом.

С братом можно. С районом можно. А как же быть одной?

Я сказала им:

— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге... Тане Савичевой.

Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:

— Таня Савичева твоя подруга?

— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова.

— Но ее же нет...

До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:

— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки...

Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:

— У нас даже почерк одинаковый!

— Почерк? — Они удивились еще больше.

— А что? Почерк!

Неожиданно они повеселели, от почерка:

— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.

— Никуда я не поеду. Я хочу строить...

— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.

— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?

— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.

Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом: а, б, в... У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.

Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:

«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».

Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.

Но я василеостровская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.

— Давайте ваш бетон. Буду писать.

Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:

— Не торопись.

Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова.

У меня плохо получалось.

— Не торопись. Пиши спокойно.

«Бабушка умерла 25 янв. 3ч. дня 1942г.».

Пока я писала про Женю, умерла бабушка.

Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже.

Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942г.».

У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил.

Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали.

Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства...

— Пиши, — тихо сказали мне.

В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:

— Пиши, Валя Зайцева, пиши.

И я снова написала — «умер».

«Дядя Вася умер 13апр. 2ч. ночь 1942г.».

«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942г.».

Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали... Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и Таня держалась.

— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.

Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7.30 час.

утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.

Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый.

Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.

— Можешь еще писать?

— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. Ведь Таня Савичева моя... подружка.

Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!

Открыла страничку «С». Там было два слова: «Савичевы умерли».

Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».

И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом.

В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.

И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна?

А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома

бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»

Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:

— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.

Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:

— Приду завтра... без своего района. Можно?

— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.

Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней.

А дружат ведь только с живыми.

Владимир Железников

«Чучело»

Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе.

Мне бы надо остановиться и уйти.

Мальчишки набросились на меня.

«За ноги ее! — орал Валька. — За ноги!..»

Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я лягалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад.

Железная Кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой, вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: «ЧУЧЕЛО — ПРЕДАТЕЛЬ».

Ленка замолчала и как-то вся угасла.

Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил.

— А они веселились вокруг чучела, — сказала Ленка. — Прыгали и хохотали:

«Ух, наша красавица-а-а!»

«Дождалась!»

«Я придумала! Я придумала! — Шмакова от радости запрыгала. — Пусть Димка подожжет костер!..»

После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала: если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру.

А Валька в это время — он повсюду успевал первым — воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост.

«У меня спичек нет», — тихо сказал Димка.

«Зато у меня есть!» — Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу.

Димка стоял около чучела, низко опустив голову.

Я замерла — ждала в последний раз! Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата… Все я!»

«Поджигай!» — приказала Железная Кнопка.

Я не выдержала и закричала:

«Димка! Не надо, Димка-а-а-а!..»

А он по-прежнему стоял около чучела — мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому, что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий.

«Ну, Сомов! — сказала Железная Кнопка. — Иди же, наконец, до конца!»

Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону.

Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Дедушка! Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла.

Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня.

Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками — мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось!

Первым опомнился Димка.

«Ты что, очумела? — Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. — Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?»

Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками — только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр.

Они разбежались.

А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое.

Сначала я лежала с закрытыми глазами. Потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза — у чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву.

Потом до меня долетел голос Железной Кнопки.

Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина…

Люси Мод Монтгомери

«Аня из Зеленых Мезонинов»

Было уже совсем светло, когда Аня проснулась и села на постели, растерянно глядя в окно, через которое лился поток радостного солнечного света и за которым покачивалось что-то белое и пушистое на фоне ярко-голубого неба.

В первое мгновение она не могла вспомнить, где находится. Сначала она ощутила восхитительный трепет, словно произошло что-то очень приятное, затем явилось ужасное воспоминание Это были Зеленые Мезонины, но здесь не хотели ее оставить, потому что она не мальчик!

Но было утро, и за окном стояла вишня, вся в цвету. Аня выскочила из постели и одним прыжком оказалась у окна. Затем она толкнула оконную раму — рама подалась со скрипом, будто ее давно не открывали, что, впрочем, и было на самом деле, — и опустилась на колени, вглядываясь в июньское утро. Глаза ее блестели от восторга. Ах, разве это не прекрасно? Разве это не прелестное место? Если бы она могла здесь остаться! Она вообразит, что остается. Здесь есть простор для воображения.

Огромная вишня росла так близко к окну, что ее ветки касались дома. Она была так густо усыпана цветами, что не было видно ни одного листика. С обеих сторон от дома тянулись большие сады, с одной стороны — яблоневый, с другой — вишневый, все в цвету. Трава под деревьями казалась желтой от цветущих одуванчиков. Чуть поодаль в саду виднелись кусты сирени, все в гроздьях ярко-фиолетовых цветов, и утренний ветерок доносил до Аниного окна их головокружительно сладкий аромат.

Дальше за садом зеленые луга, покрытые сочным клевером, спускались к долине, где бежал ручей и росло множество белых березок, стройные стволы которых поднимались над подлеском, наводившим на мысль о чудесном отдыхе среди папоротников, мхов и лесных трав. За долиной виднелся холм, зеленый и пушистый от елей и пихт. Среди них был небольшой просвет, и в него проглядывал серый мезонин того домика, который накануне Аня видела с другой стороны Озера Сверкающих Вод.

Слева виднелись большие амбары и другие хозяйственные постройки, а за ними спускались вниз к сверкающему голубому морю зеленые поля.

Глаза Ани, восприимчивые к красоте, медленно переходили от одной картины к другой, жадно впитывая все, что было перед ней. Бедняжка в своей жизни видела так много некрасивых мест. Но то, что открылось перед ней теперь, превосходило самые буйные ее мечты.

Она стояла на коленях, забыв обо всем на свете, кроме красоты, окружавшей ее, пока не вздрогнула, почувствовав на своем плече чью-то руку. Маленькая мечтательница не слышала, как вошла Марилла.

— Давно пора одеваться, — сказала Марилла коротко.

Марилла просто не знала, как говорить с этим ребенком, и это неприятное ей самой незнание делало ее резкой и решительной помимо ее воли.

Аня встала с глубоким вздохом.

— Ах. разве это не чудесно? — спросила она, указывая рукой на прекрасный мир за окном.

— Да, это большое дерево, — сказала Марилла, — и цветет обильно, но сами вишни никуда не годятся — мелкие и червивые.

— О, я говорю не только о дереве; конечно, оно прекрасно… да, оно ослепительно прекрасно… оно цветет так, будто для него самого это необычайно важно… Но я имела в виду все: и сад, и деревья, и ручей, и леса — весь большой прекрасный мир. Вы не чувствуете в такое утро, будто любите весь мир? Я даже здесь слышу, как ручей смеется вдали. Вы когда-нибудь замечали, какие радостные создания эти ручьи? Они всегда смеются. Даже зимой я слышу их смех из-подо льда. Я так рада, что здесь, возле Зеленых Мезонинов, есть ручей. Может быть, вы думаете, что это не имеет для меня значения, раз вы не хотите оставить меня здесь? Но это не так. Мне всегда будет приятно вспомнить, что возле Зеленых Мезонинов есть ручей, даже если я никогда больше его не увижу. Если бы здесь не было ручья, меня всегда преследовало бы неприятное чувство, что он должен был здесь быть. Сегодня утром я не в пучине горя. Я никогда не бываю в пучине горя по утрам. Разве это не замечательно, что бывает утро? Но мне очень грустно. Я только что воображала, что вам все-таки нужна именно я и что я останусь здесь навсегда-навсегда. Было большим утешением это вообразить. Но самое неприятное в воображаемых вещах — это то, что наступает момент, когда приходится перестать воображать, а это очень больно.

— Лучше одевайся, спускайся вниз и не думай о своих воображаемых вещах, — заметила Марилла, как только ей удалось вставить словечко. — Завтрак ждет. Умой лицо и причешись. Оставь окно открытым и разверни постель, чтобы она проветрилась. И побыстрее, пожалуйста.

Аня, очевидно, могла действовать быстро, когда это требовалось, потому что уже через десять минут она спустилась вниз, аккуратно одетая, с расчесанными и заплетенными в косы волосами, умытым лицом; душу ее при этом наполняло приятное сознание, что она выполнила все требования Мариллы. Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что она все-таки забыла раскрыть постель для проветривания.

— Я сегодня очень голодная, — объявила она, проскользнув на стул, указанный ей Мариллой. — Мир уже не кажется такой мрачной пустыней, как вчера вечером. Я так рада, что утро солнечное. Впрочем, я люблю и дождливые утра тоже. Любое утро интересно, правда? Неизвестно, что ждет нас в этот день, и так много простора для воображения. Но я рада, что сегодня нет дождя, потому что легче не унывать и стойко переносить превратности судьбы в солнечный день. Я чувствую, что мне сегодня предстоит многое перенести. Очень легко читать о чужих несчастьях и воображать, что и мы могли бы героически их преодолеть, но это не так легко, когда приходится и в самом деле с ними столкнуться, правда?

— Ради Бога, придержи язык, — сказала Марилла. — Маленькая девочка не должна так много говорить.

После этого замечания Аня совсем умолкла, столь послушно, что ее продолжающееся молчание стало несколько раздражать Мариллу, как нечто не совсем естественное. Мэтью тоже молчал — но это, по крайней мере, было естественно — так что завтрак прошел в полном молчании.

По мере того как он приближался к концу, Аня становилась все более и более рассеянной. Она ела машинально, а ее большие глаза неотрывно, невидящим взглядом смотрели на небо за окном. Это раздражало Мариллу еще сильнее. У нее было неприятное чувство, что в то время, как тело этого странного ребенка находилось за

столом, дух его парил на крыльях фантазии в какой-то заоблачной стране. Кто захотел бы иметь в доме такого ребенка?

И однако, что было самым непостижимым, Мэтью желал оставить ее! Марилла чувствовала, что он хочет этого сегодня утром так же сильно, как вчера вечером, и собирается и дальше хотеть этого. Это была его обычная манера — вбить себе в голову какую-нибудь причуду и цепляться за нее с поразительным молчаливым упорством — упорством в десять раз более мощным и действенным благодаря молчанию, чем если бы он говорил о своем желании с утра до вечера.

Когда завтрак кончился, Аня вышла из задумчивости и предложила вымыть посуду.

— Ты умеешь мыть посуду как следует? — спросила Марилла недоверчиво.

— Довольно неплохо. Правда, я лучше умею нянчить детей. У меня большой опыт в этом деле. Жаль, что у вас здесь нет детей, которыми я могла бы заняться.

— Зато я совсем не хотела бы, чтобы здесь было больше детей, чем в данный момент. С тобой одной вполне достаточно хлопот. Ума не приложу, что с тобой делать. Мэтью такой смешной.

— Мне он показался очень милым, — сказала Аня с упреком. — Он очень доброжелательный и совсем не возражал, сколько бы я ни говорила — ему это, кажется, нравилось. Я почувствовала в нем родственную душу, как только увидела его.

— Оба вы чудаки, если ты это имеешь в виду, говоря о родстве душ, — фыркнула Марилла. — Хорошо, можешь вымыть посуду. Не жалей горячей воды и вытри как следует. У меня и так полно работы сегодня с утра, потому что придется поехать после обеда в Уайт Сендс — повидать миссис Спенсер. Ты поедешь со мной, и там решим, что с тобой делать. Когда кончишь с посудой, пойди наверх и застели кровать.

Аня довольно проворно и тщательно вымыла посуду, что не осталось не замеченным Мариллой. Затем она застелила кровать, правда с меньшим успехом, потому что никогда не училась искусству бороться с периной. Но все же кровать была застелена, и Марилла, чтобы на время избавиться от девочки, сказала, что разрешает ей пойти в сад и поиграть там до обеда.

Аня бросилась к двери, с оживленным лицом и сияющими глазами. Но на самом пороге она внезапно остановилась, круто повернула назад и села возле стола, выражение восторга исчезло с ее лица, словно его сдул ветер.

— Ну, что еще случилось? — спросила Марилла.

— Я не осмеливаюсь выйти, — сказала Аня тоном мученика, отрекающегося от всех земных радостей. — Если я не могу остаться здесь, мне не стоит влюбляться в Зеленые Мезонины. А если я выйду и познакомлюсь со всеми этими деревьями, цветами, и с садом, и с ручьем, я не смогу не полюбить их. Мне и так тяжело на душе, и я не хочу, чтобы стало еще тяжелее. Мне так хочется выйти — все, кажется, зовет меня: "Аня, Аня, выйди к нам! Аня, Аня, мы хотим поиграть с тобой!" — но лучше не делать этого. Не стоит влюбляться в то, от чего предстоит быть оторванным навсегда, ведь так? И так тяжело удержаться и не полюбить, правда? Вот почему я была так рада, когда думала, что останусь здесь. Я думала, что здесь так много всего, что можно полюбить, и ничто не помешает мне. Но этот краткий сон миновал. Теперь я примирилась с моим роком, так что мне лучше не выходить. Иначе, боюсь, я не сумею снова с ним примириться. Как зовут этот цветок в горшке на подоконнике, скажите, пожалуйста?

— Это герань.

— О, я не имею в виду это название. Я имею в виду имя, которое вы ей дали. Вы не дали ей имени? Тогда можно мне это сделать? Можно, я назову ее… о, дайте подумать… Милочка подойдет… можно мне называть ее Милочка, пока я здесь? О, позвольте мне ее так называть!

— Да ради Бога, мне все равно. Но какой же смысл в том, чтобы давать имя герани?

— О, я люблю, чтобы предметы имели имена, даже если это только герань. Это делает их больше похожими на людей. Откуда вы знаете, что не задеваете чувства герани, когда называете ее просто «герань» и никак больше? Ведь вам не понравилось бы, если бы вас всегда называли просто женщиной. Да, я буду называть ее Милочкой. Я дала имя сегодня утром и этой вишне под окном моей спальни. Я назвала ее Снежной Королевой, потому что она такая белая. Конечно, она не всегда будет в цвету, но ведь всегда можно это вообразить, правда?

— Никогда в жизни не видела и не слышала ничего подобного, — бормотала Марилла, спасаясь бегством в подвал за картошкой. — Она действительно интересная, как Мэтью говорит. Я уже чувствую, как меня занимает, что еще она скажет. Она и на меня напускает чары. И уже напустила их на Мэтью. Этот взгляд, который он бросил на меня, когда выходил, снова выражал все, о чем он говорил и на что намекал вчера. Лучше бы он был как другие мужчины и говорил обо всем открыто. Тогда было бы можно ответить и переубедить его. Но что сделаешь с мужчиной, который только смотрит?

Когда Марилла вернулась из своего паломничества в подвал, она застала Аню снова впавшей в мечтательность. Девочка сидела, опустив подбородок на руки и устремив взгляд в небо. Так Марилла и оставила ее, пока обед не появился на столе.

— Могу я взять кобылу и кабриолет после обеда, Мэтью? — спросила Марилла.

Мэтью кивнул и печально взглянул на Аню. Марилла перехватила этот взгляд и сказала сухо:

— Я собираюсь поехать в Уайт Сендс и решить этот вопрос. Я возьму Аню с собой, чтобы миссис Спенсер могла сразу отправить ее обратно в Новую Шотландию. Я оставлю тебе чай на плите и вернусь домой как раз к дойке.

И опять Мэтью ничего не сказал. Марилла почувствовала, что зря тратит слова. Ничто так не раздражает, как мужчина, который не отвечает… кроме женщины, которая не отвечает.

В положенное время Мэтью запряг гнедую, и Марилла с Аней сели в кабриолет. Мэтью открыл пред ними ворота двора и, когда они медленно проезжали мимо, сказал громко, ни к кому, кажется, не обращаясь:

— Здесь был утром один паренек, Джерри Буот из Крик, и я сказал ему, что найму его на лето.

Марилла не ответила, но хлестнула несчастную гнедую с такой силой, что толстая кобыла, не привыкшая к подобному обращению, возмущенно рванула галопом. Когда кабриолет уже катил по большой дороге, Марилла обернулась и увидела, что несносный Мэтью стоит, прислонившись к воротам, и печально смотрит им вслед.

Борис Ганаго

«Письмо Богу»

Это произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рождества. С залива дует холодный пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей по булыжной мостовой, хлопают двери магазинов - делаются последние покупки перед праздником. Все торопятся побыстрее добраться до дома. Только маленький мальчик медленно бредет по заснеженной улице. Он то и дело достает из карманов ветхого пальто озябшие покрасневшиеруки и пытается согреть их своим дыханием. Затем снова засовывает их поглубже в карманы и идет дальше. Вот останавливается у витрины булочной и разглядывает выставленные за стеклом крендели и баранки. Дверь магазина распахнулась, выпуская очередного покупателя, и из нее потянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. Мальчик судорожно сглотнул слюну, потоптался на месте и побрел дальше. Незаметно опускаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. Мальчик приостанавливается у здания, в окнах которого горит свет, и, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного помедлив, он открывает дверь. Старый писарь сегодня задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже давно он живет один и в праздники особенно остро чувствует свое одиночество. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему не с кем встречать Рождество, некому делать подарки. В это время дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика.

- Дяденька, дяденька, мне надо написать письмо! - быстро проговорил мальчик.

- А деньги у тебя есть? - строго спросил писарь.

Мальчик, теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун Рождества и что ему так хотелось сделать кому-нибудь подарок. Он достал чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и вывел: «Петербург. 6 января. Господину...»

- Как фамилия господина?

- Это не господин, - пробормотал мальчик, еще не до конца веря своей удаче.

- Ах, это дама? - улыбнувшись, спросил писарь.

- Нет-нет! - быстро проговорил мальчик.

- Так кому же ты хочешь написать письмо? - удивился старик.

- Иисусу.

- Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком? - возмутился писарь и хотел указать мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рождества. Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голосом он спросил:

- А что ты хочешь написать Иисусу?

- Моя мама всегда учила меня просить помощи у Бога, когда трудно. Она сказала, что Бога зовут Иисус Христос, - мальчик подошел ближе к писарю и продолжал. - А вчера она уснула, и я никак не могу ее разбудить. Дома нет даже хлеба, мне так хочется есть, - он ладонью вытер набежавшие на глаза слезы.

- А как ты ее будил? - спросил старик, поднявшись из-за своего стола.

- Я ее целовал.

- А она дышит?

- Что ты, дяденька, разве во сне дышат?

- Иисус Христос уже получил твое письмо, - сказал старик, обнимая мальчика за плечи. - Он велел мне заботиться о тебе, а твою маму забрал к себе.

Старый писарь подумал: «Мать моя, уходя в мир иной, ты велела мне быть добрым человеком и благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет стыдно за меня».

Борис Ганаго

Зеркало

Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Палка, палка, огуречик -
Вот и вышел человечек.

С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что её не поймут, подписала под ним: “Это я”. Она внимательно осмотрела своё творение и решила, что ему чего-то не хватает.

Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя: что ещё нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображён на портрете?

Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом, пробовала разные причёски. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью.

Ей захотелось выглядеть загадочной и романтичной, как длинноногие девушки, показывающие моды по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицы. Получилось не очень красиво, а когда она резко остановилась, шляпа съехала ей на нос.

Хорошо, что никто не видел её в этот момент. Вот бы посмеялись! В общем, быть манекенщицей ей совсем не понравилось.

Девочка сняла шляпу, и тут её взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила её. И замерла, сделав удивительное открытие: как две капли воды она была похожа на свою бабулю. Только морщин у неё пока не было. Пока.

Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. Правда, это будущее казалось ей очень далёким…

Наде стало понятно, почему бабушка так любит её, почему с нежной грустью наблюдает за её шалостями и украдкой вздыхает.

Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место и побежала к дверям. На пороге она встретила… саму себя, только не такую резвую. А вот глаза были совсем такие же: по-детски удивленные и радостные.

Наденька обняла себя будущую и тихо спросила:

- Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной?

Бабушка помолчала, потом загадочно улыбнулась и достала с полки старинный альбом. Перелистав несколько страниц, она показала фотографию маленькой девочки, очень похожей на Надю.

- Вот какой я была.

- Ой, и правда, ты похожа на меня! – в восторге воскликнула внучка.

- А может, это ты похожа на меня? – лукаво прищурившись, спросила бабушка.

- Это не важно, кто на кого похож. Главное – похожи, – не уступала малышка.

- Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я…

И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было лиц. И каких лиц! И каждое было по-своему красиво. Покой, достоинство и тепло, излучаемые ими, притягивали взгляд. Надя заметила, что все они – маленькие дети и седые старики, юные дамы и подтянутые военные – были чем-то похожи друг на друга… И на неё.

- Расскажи мне о них, – попросила девочка.

Бабушка прижала к себе свою кровинку, и заструился рассказ об их роде, идущем из давних веков.

Уже подошло время мультиков, но девочке не захотелось их смотреть. Она открывала что-то удивительное, бывшее давно, но живущее в ней.

А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, историю своего рода? Может быть, эта история и есть твоё зеркало?

Борис Ганаго

Сказанное слово

На окраине большого города стоял старенький домик с садом. Их охранял надёжный сторож — умный пёс Уран. Он зря никогда ни на кого не лаял, зорко следил за незнакомцами, радовался хозяевам.

Но вот этот дом попал под снос. Его обитателям предложили благоустроенную квартиру, и тут возник вопрос — что делать с овчаркой? Как сторож Уран уже был им не нужен, становясь лишь обузой. Несколько дней шли ожесточённые споры о собачьей судьбе. В открытое окно из дома до сторожевой конуры частенько долетали жалобные всхлипывания внука и грозные окрики деда.

Что понимал Уран из доносившихся слов? Кто знает...

Только заметили невестка и внук, выносившие ему еду, что миска собаки так и оставалась нетронутой более суток. Уран не ел и в последующие дни, как его ни уговаривали. Он уже не вилял хвостом, когда к нему подходили, и даже отводил взгляд в сторону, словно не желая больше смотреть на людей, предававших его.

Невестка, ожидавшая наследника или наследницу, предположила:

— А не заболел ли Уран? Хозяин в сердцах бросил:

— Вот было бы и лучше, если бы пёс сам издох. Не пришлось бы тогда пристреливать.

Невестка вздрогнула.

Уран посмотрел на сказавшего взглядом, который хозяин потом долго не мог забыть.

Внук уговорил соседа ветеринара посмотреть своего любимца. Но ветеринар не обнаружил никакой болезни, только задумчиво сказал:

— Может быть, он о чем-то затосковал... Уран вскоре умер, до самой смерти чуть шевеля хвостом лишь невестке и внуку, навещавших его.

А хозяин по ночам часто вспоминал взгляд Урана, преданно служившего ему столько лет. Старик уже пожалел о жестоких словах, убивших пса.

Но разве сказанное вернуть?

И кто знает, как ранило озвученное зло внука, привязанного к своему четвероногому другу?

А кто знает, как оно, разлетясь по миру подобно радиоволне, повлияет на души ещё не родившихся детей, будущие поколения?

Слова живут, слова не умирают...

В старинной книжке рассказывалось: у одной девочки умер папа. Девочка тосковала о нем. Он всегда был ласков с ней. Этой теплоты ей не хватало.

Однажды папа приснился ей и сказал: теперь ты будь ласкова с людьми. Каждое доброе слово служит Вечности.

Борис Ганаго

Машенька
Святочный рассказ

Однажды много лет назад девочку Машу приняли за Ангела. Случилось это так.

В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама работала, где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так хотелось. Что делать?

Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но люди, не замечая её, проходили мимо. Приближалась Рождественская ночь, и слова женщины: “Не себе прошу, детям моим… Христа ради! ” тонули в предпраздничной суете.

В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи Самого Христа. Кого же ещё оставалось просить?

Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо её было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела таких страданий.

У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось прыгать от счастья. Но если кому-то было больно, она не могла пройти мимо и спрашивала:

- Что с тобой? Почему ты плачешь? И чужая боль проникала в её сердце. Вот и теперь она склонилась к женщине:

- У вас горе?

И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда в жизни не испытывала чувства голода, представила себе троих одиноких, давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она протянула женщине пять рублей. Это были все её деньги.

По тем временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло.

- А где ваш дом? – на прощание спросила Маша. С удивлением она узнала, что живёт бедная семья в соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале, но она твёрдо знала, что ей нужно сделать в этот рождественский вечер.

Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети радостно встретили её.

Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и притихли. Стол, уставленный едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом.

Но тут Надя, самая маленькая, спросила:

- Мама, а правда, что в Рождественскую мочь Бог посылает детям Ангела, и тот приносит им много-много подарков?

Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал: все сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь в Рождественский праздник ёлку, такую же, как у нсех остальных детей. Что она, бедная, могла им сказать? Разрушить детскую веру?

Дети настороженно смотрели на неё, ожидая ответа. И мама подтвердила:

- Это правда. Но Ангел приходит только к тем, кто всем сердцем верит в Бога и от всей души молится Ему.

- А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему, – не отступала Надя. – Пусть он пошлёт нам Своего Ангела.

Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь. На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Маша, а за ней – бородатый мужик с ёлкой в руках.

- С Рождеством Христовым! – радостно поздравила хозяев Машенька. Дети замерли.

Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату вошла Машина няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Малыши не верили своим глазам. Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою ёлку и свои подарки. А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила:

- Эта девочка и была Ангел?

Борис Ганаго

Возвращение к жизни
(По мотивам рассказа А. Добровольского «Серёжа»)

Обычно кровати братьев стояли рядом. Но когда Серёжа заболел воспалением легких, Сашу переселили в другую комнату и запретили тревожить малыша. Только просили молиться за братишку, которому становилось всё хуже и хуже.

Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного. Серёжа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету, из которого доносились голоса родителей. Дверь была приоткрыта, и Саша услышал, как мама, плача, сказала, что Серёжа умирает. Папа с болью в голосе ответил:

— Что ж теперь плакать? Его уже не спасти...

В ужасе Саша бросился в комнату сестрёнки. Там никого не было, и он с рыданиями упал на колени перед иконой Божией Матери, висевшей на стене. Сквозь всхлипывания прорывались слова:

— Господи, Господи, сделай так, чтобы Серёжа не умер!

Лицо Саши было залито слезами. Вокруг всё расплывалось, как в тумане. Мальчик видел перед собой лишь лик Божией Матери. Чувство времени исчезло.

— Господи, Ты всё можешь, спаси Серёжу!

Уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша с трупом встал и зажёг настольную лампу. Перед ней лежало Евангелие. Мальчик перевернул несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе...»

Словно услышав приказ, он пошёл к Серёже. У постели любимого брата молча сидела мама. Она подала знак: «Не шуми, Серёжа уснул».

Слова не были произнесены, но этот знак был, как луч надежды. Уснул — значит, жив, значит, будет жить!

Через три дня Серёжа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать у него. Они принесли любимые игрушки брата, крепость и домики, которые он до болезни вырезал и склеивал, — всё, чем можно было порадовать малыша. Сестрёнка с большой куклой встала около Серёжи, а Саша, ликуя, сфотографировал их.

Это были мгновения настоящего счастья.

Борис Ганаго

Твой птенчик

Выпал из гнезда птенчик – совсем маленький, беспомощный, даже крылышки ещё не выросли. Ничего не умеет, только пищит и клювик раскрывает – есть просит.

Взяли его ребята и принесли в дом. Соорудили ему гнёздышко из травы и веточек. Вова кормил малыша, а Ира поила и выносила на солнышко.

Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него стали перышки вырастать. Ребята нашли на чердаке старую птичью клетку и для надежности посадили в неё своего любимца – уж очень выразительно стал на него кот поглядывать. Целыми днями у дверей дежурил, момента удобного дожидался. И сколько его дети ни гнали, глаз с птенчика не сводил.

Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах у детей вырос и начал по клетке летать. А вскоре ему в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, он бился о прутья и просился на волю. Вот и решили ребята своего питомца выпустить. Конечно, жалко им было с ним расставаться, но лишать свободы того, кто создан для полёта, они не могли.

Однажды солнечным утром простились дети со своим любимцем, вынесли клетку во двор и открыли. Птенчик выпрыгнул на траву и оглянулся на своих друзей.

В этот момент появился кот. Притаившись в кустах, он приготовился к прыжку, бросился, но… Птенчик взлетел высоко-высоко…

Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с птицей. За каждой душой враг охотится, поймать хочет. Ведь поначалу душа человеческая, совсем как птенец неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как же нам сохранить её, как вырастить, чтобы не разбилась она о камни острые, не попала в сети ловца?

Господь создал спасительную ограду, за которой растёт и крепнет наша душа, – дом Божий, Церковь святую. В ней душа учится возлетать высоко-высоко, к самому небу. И познаёт она там такую светлую радость, что ей никакие земные сети не страшны.

Борис Ганаго

Попугайчик

Слонялся Петя по дому. Все игры надоели. Тут мама дала поручение сходить в магазин и ещё подсказала:

- Наша соседка, Мария Николаевна, ногу сломала. Ей хлеба купить некому. Еле по комнате передвигается. Давай, я позвоню и узнаю, может ей что купить нужно.

Тётя Маша звонку обрадовалась. А когда мальчик принёс ей целую сумку продуктов, она не знала, как его и благодарить. Почему-то показала Пете пустую клетку, в которой недавно жил попугай. Это был её друг. Тётя Маша за ним ухаживала, делилась своими думами, а он взял и улетел. Теперь ей некому слова сказать, не о ком заботиться. А что это за жизнь, если не о ком заботиться?

Петя посмотрел на пустую клетку, на костыли, представил, как тётя Mania ковыляет по опустевшей квартире, и в голову ему пришла неожиданная мысль. Дело в том, что он давно копил деньги, которые ему давали на игрушки. Всё не находил ничего подходящего. И вот теперь эта странная мысль – купить попугайчика для тёти Маши.

Попрощавшись, Петя выскочил на улицу. Ему захотелось зайти в зоомагазин, где когда-то видел разных попугайчиков. Но теперь он смотрел на них глазами тёти Маши. С каким из них она могла бы подружиться? Может, этот ей подойдёт, может, этот?

Петя решил расспросить соседку о беглеце. На следующий день он сказал маме:

- Позвони тёте Маше… Может быть, ей что-нибудь нужно?

Мама даже замерла, потом прижала сына к себе и прошептала:

- Вот и ты человеком становишься… Петя обиделся:

- А разве раньше я человеком не был?

- Был, конечно был, – улыбнулась мама. — Только теперь у тебя ещё и душа проснулась… Слава Богу!

- А что такое душа? — насторожился мальчик.

- Это способность любить.

Мама испытующе посмотрела на сына:

- Может, сам позвонишь?

Петя засмущался. Мама сняла трубку: Мария Николаевна, извините, у Пети к вам вопрос. Я сейчас ему трубку передам.

Тут уж деваться было некуда, и Петя смущённо пробормотал:

- Тётя Маша, может, вам купить что-нибудь?

Что произошло на другом конце провода, Петя не понял, только соседка ответила каким-то необычным голосом. Поблагодарила и попросила принести молока, если он пойдёт в магазин. Больше ей ничего не нужно. Опять поблагодарила.

Когда Петя позвонил в её квартиру, он услышал торопливый стук костылей. Тётя Маша не хотела заставлять его ждать лишние секунды.

Пока соседка искала деньги, мальчик как бы невзначай стал расспрашивать её о пропавшем попугае. Тётя Маша охотно рассказала и про цвет, и про поведение…

В зоомагазине таких по цвету попугайчиков оказалось несколько. Петя долго выбирал. Когда же он принёс свой подарок тёте Маше, то… Я не берусь описывать, что было дальше.

Лесков Николай

Левша

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после, государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

- Мое, - говорит, - теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, - а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

- Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

- Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: "Чувствую хлад, как от крепкого металла". А потом зубом ее слегка помял и объявил:

- Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, - но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, - никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

- Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

- Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, - говорит, - пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, - говорит, - так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, -- и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозориюы можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

- Это, - говорит, - ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, - тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, - не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

- Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Антон Чехов

Спать хочется

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но всё еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — тебе кашки наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет — и всё это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. — «Зачем это?» — спрашивает Варька. — «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... — мурлычет Варька и снится ей, что идет она в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорит он. — Дитё плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. — Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай, купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот, наконец, гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая.

Виктор Астафьев

Зачем я убил коростеля?

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.

Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.

Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?

Максим Горький

«Старуха Изергиль»
Легенда о Ларре (отрывок)

Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают об всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них…

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления… Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле,

но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это? Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный! А когда развязали его, он спросил:

– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы…

– Ты слышал… – сказал мудрец.

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь… Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем…

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она… А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги… а владеет он животными, женщинами, землей… и многим еще…

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком… А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его. Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей,

подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди. И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду… Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И все ищет, ходит, ходит… Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему.

Иван Тургенев

Памяти Ю.П. Вревской

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гопшиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черенке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Шипилов Андрей Михайлович

«Правдивая история»

Васька Петухов придумал такой приборчик, нажмешь на кнопочку, – и все вокруг только правду начинают говорить. Сделал Васька этот прибор и в школу принес. Вот заходит Марья Ивановна в класс и говорит: – Здравствуйте ребята, очень рада вас видеть! А Васька на кнопочку – раз! – А если по правде, – продолжает Марья Ивановна, – то вовсе я и не рада, с чего бы это мне радоваться! Надоели вы мне хуже горькой редьки за две четверти! Учишь вас, учишь, вкладываешь в вас душу – и никакой благодарности. Надоело! Не буду больше с вами церемониться. Чуть что – сразу пару!

А на перемене к Ваське подходит Косичкина и говорит: – Васька, давай с тобой дружить. – Давай, – говорит Васька, а сам на кнопочку – раз! – Только я с тобой не просто так собираюсь дружить, – продолжает Косичкина, а с определённой целью. Я знаю, у тебя дядя в Лужниках работает; так вот, когда "Иванушки-интернешнл" или Филипп Киркоров в очередной раз выступать будут, тогда ты меня с собой бесплатно на концерт проведешь.

Грустно Ваське стало. Ходит весь день по школе, кнопочку нажимает. Пока кнопочка не нажата – все нормально, но стоит нажать – такое начинается!..

А после уроков – новогодний вечер. Заходит в зал Дед Мороз и говорит: – Здравствуйте, ребята, я – Дед Мороз! Васька на кнопочку – раз! – Хотя, – продолжает Дед Мороз, – на самом деле я вовсе никакой не Дед Мороз, а школьный сторож Сергей Сергеевич. У школы денег нет, чтобы настоящего артиста нанять для дедморозовской роли, вот меня директор и попросил выступить за отгулы. Одно выступление – пол отгула. Только, я думаю, что прогадал, надо было мне не по половине, а по целому отгулу брать. Как считаете, ребята?

Совсем плохо на душе у Васьки сделалось. Приходит домой грустный-грустный. – Что случилось, Васька? – спрашивает мама, – совсем лица на тебе нет. – Да так, – говорит Васька, – ничего особенного, просто меня постигло разочарование в людях. – Ох, Васька, – засмеялась мама, – до чего же ты смешной; как же я тебя люблю! – Правда? – спрашивает Васька, – а сам на кнопочку – Раз! – Правда! – смеется мама. – Правда-правда? – говорит Васька, а сам ещё сильнее на кнопочку давит. – Правда-правда! – отвечает мама. – Ну, тогда вот что, – говорит Васька, – я тоже тебя люблю. Очень-очень!

Постников Валентин

«Жених из 3 «Б»

Вчера днём, на уроке математики, я твёрдо решил, что мне пора жениться. А что? Я уже в третий класс хожу, а невесты у меня до сих пор нет. Когда же, если не сейчас. Ещё пару лет и поезд ушёл. Вот папа мне часто говорит: В твои годы люди уже полком командовали. И это правда. Но сначала я должен жениться. Об этом я сообщил своему лучшему другу Петьке Амосову. Он со мной за одной партой сидит.

– Ты абсолютно прав, – решительно сказал Петька. – Будем тебе на большой перемене невесту выбирать. Из нашего класса.

На перемене мы с ним первым делом список невест составили и стали думать, на ком же мне из них жениться.

– Женись на Светке Федуловой, – говорит Петька.

– Почему на Светке? – удивился я.

– Чудак! Она же отличница, – говорит Петька. – Будешь у неё всю жизнь списывать.

– Нет, – говорю. – На Светке неохота. Она же зубрила. Будет меня уроки заставлять учить. Будет шнырять по квартире, как заводная и ныть противным голосом: – Учи уроки, учи уроки.

– Вычёркиваем! – решительно сказал Петька.

– А может мне на Соболевой жениться? – спрашиваю я.

– На Насте?

– Ну да. Она ведь живёт рядом со школой. Мне её провожать удобно, – говорю. – Не то, что Катька Меркулова – за железной дорогой живёт. Если я на ней женюсь, мне что же всю жизнь в такую даль таскаться? Мне мама вообще не разрешает в том районе гулять.

– Верно, – покачал головой Петька. – Но у Настиного папы машины даже нет. А вот у Машки Кругловой есть. Самый настоящий Мерседес, будете на нём в кино ездить.

– Но ведь Машка толстая.

– А ты видел когда-нибудь Мерседес? – спрашивает Петька. – Туда три Машки влезут.

– Да не в этом дело, – говорю. – Машка мне не нравится.

– Тогда давай на Ольге Бубликовой тебя женим. У неё бабушка готовит – пальчики оближешь. Помнишь, Бубликова нас бабушкиными пирожками угощала? Ох, и вкусные. С такой бабушкой не пропадёшь. Даже в старости.

– Не в пирожках счастье, – говорю.

– А в чём же? – удивляется Петька.

– Мне бы на Варьке Королёвой жениться, – говорю. – Вот это да!

– А что у Варьки? – удивляется Петька. – Ни пятёрок, ни Мерседеса, ни бабушки. Что это за жена такая?

– За то у неё глаза красивые.

– Ну, ты даёшь, – засмеялся Петька. – В жене самое главное – приданое. Это ещё великий русский писатель Гоголь сказал, я сам слышал. А что это за приданое такое – глаза? Смех, да и только.

– Ничего ты не понимаешь, – махнул рукой я. – Глаза – это и есть приданое. Самое лучшее!

На том дело и кончилось. Но жениться я не передумал. Так и знайте!

Виктор Голявкин

Не везёт

Однажды прихожу я домой из школы. В этот день я как раз двойку получил. Хожу по комнате и пою. Пою и пою, чтоб никто не подумал, что я двойку получил. А то будут спрашивать ещё: «Почему ты мрачный, почему ты задумчивый?»

Отец говорит:

— Что это он так поёт?

А мама говорит:

— У него, наверное, весёлое настроение, вот он и поёт.

Отец говорит:

— Наверное, пятёрку получил, вот и весело человеку. Всегда весело, когда какое-нибудь хорошее дело сделаешь.

Я как это услышал, ещё громче запел.

Тогда отец говорит:

— Ну ладно, Вовка, порадуй отца, покажи дневник.

Тут я сразу петь перестал.

— Зачем? — спрашиваю.

— Я вижу, — говорит отец, — тебе очень хочется дневник показать.

Берёт у меня дневник, видит там двойку и говорит:

— Удивительно, получил двойку и поёт! Что он, с ума сошёл? Ну-ка, Вова, иди сюда! У тебя, случайно, нет температуры?

— Нет у меня, — говорю, — никакой температуры...

Отец развёл руками и говорит:

— Тогда нужно тебя наказать за это пение...

Вот как мне не везёт!

Шолохов Михаил

Отрывок из повести «Судьба человека»

Из рейса, бывало, вернешься в город - понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует...

И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день - опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки - как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился - кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: "Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем".

Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: "А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?". И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет.

Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Опрашиваю: "Где же твой отец, Ваня?"

Шепчет: "Погиб на фронте". - "А мама?" - "Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали".

- "А откуда вы ехали?" - "Не знаю, не помню..." - "И никого у тебя тут родных нету?" - "Никого". - "Где же ты ночуешь?" - "А где придется".

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: "Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети". И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: "Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?" Он и спросил, как выдохнул: "Кто?" Я ему и говорю так же тихо: "Я - твой отец".

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: "Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!" Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся…

Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, - побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Марк Твен

Отрывок из романа «Приключения Гекльберри Финна»

Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю — вот он, папаша! Я его всегда боялся — уж очень здорово он меня драл. Отцу было лет около пятидесяти, и на вид не меньше того. Волосы у него длинные, нечесаные и грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. В лице нет ни кровинки — оно совсем бледное; но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, — как рыбье брюхо или как лягва. А одежда — сплошная рвань, глядеть не на что. Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Он осмотрел меня с головы до пяток, потом говорит:

— Ишь ты как вырядился — фу-ты ну-ты! Небось думаешь, что ты теперь важная птица, — так, что ли?

— Может, думаю, а может, и нет, — говорю я.

— Ты смотри, не очень-то груби! — Понабрался дури, пока меня не было! Я с тобой живо разделаюсь, собью с тебя спесь! Тоже, образованный стал, — говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не годится, раз он неграмотный? Это всё я из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?

— Вдова велела.

— Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?

— Никто не позволял.

— Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят! А ты, смотри, школу свою брось. Слышишь? Я им покажу! Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом, важность на себя напустил какую! Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, каким франтом вырядился! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю.

Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату.

— Правильно. Читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю! Следить за тобой буду, франт этакий, и ежели только поймаю около этой самой школы, всю шкуру спущу! Всыплю тебе — опомниться не успеешь! Хорош сынок, нечего сказать!

Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил: «Это еще что такое?».

— Это мне дали за то, что я хорошо учусь. Он разодрал картинку и сказал:

— Я тебе тоже дам кое-что: ремня хорошего!

Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, потом сказал: «Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу, — а родной отец должен валяться на кожевенном заводе вместе со свиньями! Хорош сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь повыбью! Ишь напустил на себя важность …». Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло.

Иван Якимов

«Странная процессия»

Осенью на Настасею-овчарницу, когда кормили по дворам пастухов – благодарили за то, что они скот сберегли, - пропал у Митрохи Ванюгина баран. Поискал, поискал Митроха, нет нигде барана, хоть убей. Стал ходить по домам и дворам. У пяти хозяев побывал, а потом направил стопы к Макриде и Епифану. Заходит, а они всей семьёй суп жирный из баранины хлебают, только ложки мелькают.

- Хлеб-соль, - говорит Митроха, косясь на стол.

- Проходи, Митрофан Кузьмич, гостем будешь. Садись суп с нами хлебать, - приглашают хозяева.

- Спасибо. Никак, барана зарезали?

- Слава богу, зарезали, хватит ему жир копить.

- А я ума не приложу, куды мог запропаститься баран,- вздохнул Митроха и, помолчав, спросил: - К вам он не попал случаем?

- А может, и попал, надо поглядеть в хлеве.

- А может и под нож попал? – сощурил глаза гость.

- Может и под нож попал, - ничуть не смутившись, отвечает хозяин.

- Ты не шути, Епифан Аверьянович, вы ведь не в темноте, чай, резали барана, должны отличить своего от чужого.

- Да эти бараны все серые, как волки, дак кто их разберёт, высказалась Макрида.

- Кажите шкуру. Я своего барана кряду узнаю.

Хозяин несёт шкуру.

- Ну, точно, мой баран-то!- рванулся с лавки Митроха.- На спине вот чёрное пятно, а на хвосте, гляньте, шерсть подпалена: Манёха слепая, лучиной подпалила, когда поила . - Что ж это получается, грабёж средь бела дня?

- Не нарочно мы, прости, Кузьмич. У самых дверей стоял он окоянный, кто ж его знал, что он твой, - пожимают хозяева плечами.- Не говори уж, ради бога никому. Забирай нашего барана и делу конец.

- Нет, не конец! – запрыгал Митроха. – Ваш баран заморыш, ягнёнок против моего. Вертайте моего барана!

- Да как его вернёшь, коли он наполовину съеден? – недоумевают хозяева.

- Вертайте всё, что осталось, за остальное деньги платите.

Через час от дома Макриды и Епифана к дому Митрохи на глазах у всей деревни двигалась странная процессия.. Впереди шёл, припадая на правую ногу, Епифан с бараньей шкурой под мышкой, за ним важно вышагивал Митроха с мешком баранины на плече, а замыкала шествие Макрида. Она семенила с чугуном на вытянутых руках - несла недоеденный суп из Митрохиного барана. Баран, хоть и в разобранном виде, но снова вернулся к хозяину.

Николай Носов

Бобик в гостях у Барбоса

Бобик увидел на столе гребешок и спросил:

- А что это у вас за пила?

- Какая пила! Это гребешок.

- А для чего он?

- Эх ты! - сказал Барбос. - Сразу видно, что весь век в конуре прожил. Не знаешь, для чего гребешок? Причесываться.

- Как это - причесываться?

Барбос взял гребешок и стал причесывать у себя на голове шерсть:

- Вот смотри, как надо причесываться. Подойди к зеркалу и причешись.

Бобик взял гребешок, подошел к зеркалу и увидел в нем свое отражение.

- Послушай, - закричал он, показывая на зеркало, - там собака какая-то!

- Да это ведь ты сам в зеркале! - засмеялся Барбос.

- Как - я? Я ведь здесь, а там другая собака. Барбос тоже подошел к зеркалу. Бобик увидел его отражение и закричал:

- Ну вот, теперь их уже двое!

- Да нет! - сказал Барбос.- Это не их двое, а нас двое. Они там, в зеркале, неживые.

- Как неживые? - закричал Бобик. - Они же ведь двигаются!

- Вот чудак! - ответил Барбос.- Это мы двигаемся. Видишь, там одна собака на меня похожа! - Верно, похожа! - обрадовался Бобик. Точь-в-точь как ты!

- А другая собака похожа на тебя.

- Что ты! - ответил Бобик. - Там какая-то противная собака, и лапы у нее кривые.

- Такие же лапы, как у тебя.

- Нет, это ты меня обманываешь! Посадил туда каких-то двух собак и думаешь, я тебе поверю, - сказал Бобик.

Он принялся причесываться перед зеркалом, потом вдруг как засмеется:

- Глянь-ка, а этот чудак в зеркале тоже причесывается! Вот умора!

Барбос только фыркнул и отошел в сторону.

Виктор Драгунский

«Шиворот- навыворот»

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

«Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!»

И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

«Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь садись к столу».

Он бы сел и потихоньку сказал маме: «Ну как поживаешь?»

А она бы сказала тоже тихонько: «Ничего, спасибо!»

А я бы немедленно: «Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты мое!»

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил: «Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Пальто распахнуто, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз — на черный ход!»

Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: «После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!»

Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали: «И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!»

А я бы им: «Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и все!»

Тогда бы бабушка взмолилась: «Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!»

Но я бы увильнул, я сказал бы: «А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!»

И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы...

Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

— Ты еще сидишь. Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!

Марина Дружинина

«Гороскоп»

Учительница вздохнула и раскрыла журнал.

- Ну что ж, «дерзайте ныне ободрённы»! А точнее, Ручкин! Перечисли птиц, пожалуйста, которые живут на опушках леса, на открытых местах.

Вот так номер! Этого я никак не ожидал! Почему я? Меня сегодня не должны вызывать! Гороскоп обещал «всем Стрельцам, а стало быть мне, невероятного везения, безудержного веселья и стремительного взлёта по служебной лестнице». Может, передумает Мария Николаевна, но она выжидающе смотрела именно на меня. Пришлось встать. Только вот что говорить – я понятия не имел, ведь уроки то я не учил – поверил гороскопу.

- Овсянка! – зашептал мне в спину Редькин.

- Овсянка! – машинально повторил я, не слишком доверяя Петьке.

- Правильно! – обрадовалась учительница. – Есть такая птичка! Давай дальше!

«Молодец Редькин! Правильно подсказал! Всё - таки везучий у меня сегодня день! Гороскоп не подвёл!» - радостно пронеслось у меня в голове, и я уже без всяких сомнений на одном дыхании выпалил вслед за спасительным Петькиным шёпотом:

- Пшёнка! Манка! Гречка! Перловка!

Взрыв хохота заглушил «перловку». А Мария Николаевна укоризненно покачала головой:

- Ручкин, ты, наверное, очень любишь каши. Но при чём тут птицы? Садись! «Два»!

Я прямо-таки закипел от негодования. Я показал Редькину кулак и начал думать, как ему отомстить. Но возмездие немедленно настигло злодея без моего участия.

- Редькин, к доске! - скомандовала Мария Николаевна. – Ты, кажется, что-то нашёптывал Ручкину ещё и про пельмешки, окрошку. Это тоже, по-твоему, птицы открытых мест?

- Да нет!- ухмыльнулся Петька. – Это я пошутил.

- Неправильно подсказывать – подло! Это гораздо хуже, чем не выучить урок! – возмутилась учительница. – Надо будет поговорить с твоей мамой. А сейчас назови птиц - родственников вороны.

Наступила тишина. Редькин явно был не в курсе.

Владику Гусеву стало жалко Петьку, и он зашептал:

- Грач, галка, сорока, сойка…

Но Редькин, видимо, решил, что Владик мстит ему за своего друга, то есть за меня, и подсказывает неправильно. Каждый ведь по себе судит – я читал об этом в газете… В общем, Редькин махнул Владику рукой: мол, замолчи, и объявил:

- У вороны, как и у любой другой птицы, есть большая родня. Это мама, папа, бабушка – старая ворона, - дедушка…

Тут мы прямо- таки завыли от хохота и попадали под парты. Что и говорить, безудержное веселье удалось на славу! Даже двойка не испортила настроения!

- Это всё?! – грозно спросила Мария Николаевна.

- Нет, не всё! – не унимался Петька.- У вороны есть ещё тёти, дяди, сёстры, братья, племянники…

- Хватит! – закричала учительница.- «Два» И чтоб завтра же в школу пришла вся твоя родня! Ох, что я говорю!... Родители!

Михаил Зощенко

«Находка»

Однажды мы с Лелей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука. Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали её шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шёл и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лелей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идёт прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Ещё бы: он нашёл коробку конфет — это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лелей смотрим, что будет дальше.

Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, ещё того более обрадовался.

И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего.

Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя.

Тут мы с Лелей стали так смеяться, что повалились на траву.

И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас всё понял.

В одно мгновенье он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить.

Мы с Лелей задали стрекача.

Мы с визгом бросились через сад к дому.

Но я запнулся о грядку и растянулся на траве.

И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо.

Я громко закричал. Но прохожий, дав мне ещё два шлепка, спокойно удалился из сада.

На крик и шум прибежали наши родители.

Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошёл к родителям и пожаловался им на то, что было.

Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его.

И Леля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил её. И сказал ей и маме:

— Не зовите дворника. И не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое.

Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему:

— Ты ужасный эгоист!

И мы с Лелей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потёр своё ухо и заплакал. И Лелька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе:

— Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слёз, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу и всё расцениваю как невинную детскую забаву.

И папа не нашёлся, что ответить. Он только сказал:

— Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо.

Тварк Мэн

Рассказ «Козёл»

Выехали мы рано утром. Нас с Фофаном посадили на заднее сиденье, и мы стали глядеть в окно.

Ехал папа осторожно, никого не обгонял и рассказывал нам с Фофаном про правила дорожного движения. Не про то, как и где надо переходить дорогу, чтобы тебя не переехали. А про то, как надо ехать, чтобы самому никого не переехать.

- Видите, трамвай остановился - говорил папа. - И мы должны остановиться, чтобы пропустить пассажиров. А сейчас, когда они прошли можно трогаться. А вот этот знак говорит о том, что дорога будет сужаться и вместо трех полос движения останется только две. Посмотрим вправо, влево и если никого нет, перестроимся.

Мы с Фофаном слушали, глядели в окно, и я чувствовал как ноги и руки у меня сами шевелятся. Будто это я, а не папа сидел за рулем.

- Па! - сказал я. - А ты научишь нас с Фофаном машину водить?

Папа немного помолчал.

- Вообще-то это взрослое дело - сказал он. - Вот подрастете немного и тогда обязательно.

Мы стали подъезжать к повороту.

- А вот этот желтый квадрат дает нам право проехать первыми. - сказал папа. - Основная дорога. Светофора нет. Поэтому показываем поворот и...

Выехать до конца он не успел. Слева раздался рев мотора, и мимо нашей машины пронеслась черная "десятка". Она вильнула два раза туда-сюда, заскрипела тормозами, перегородила нам дорогу и остановилась. Из нее выскочил молодой парень в синей форме и быстро зашагал к нам.

- Ты что-то нарушил?! - испугалась мама. - Тебя сейчас штрафовать будут?

- Желтый квадрат - растерянно сказал папа. - Основная дорога. Ничего я не нарушал! Может он спросить что-то хочет?

Папа опустил стекло, а парень почти бегом подбежал к дверце. Он наклонился и я увидел, что лицо у него злое. Или нет, даже не злое. Он смотрел на нас так, будто мы были самыми главными врагами в его жизни.

- Ты что творишь, козел!? - заорал он так громко, что мы с Фофаном вздрогнули. - Ты же меня на встречку выгнал! Ну, козел! Тебя кто ездить так учил? Кто, я спрашиваю? Понасадят, блин, за руль козлов! Жалко, я сегодня не на службе, я бы тебе выписал! Чего уставился?

Мы все вчетвером молча смотрели на него, а он все орал и орал через слово повторяя "козел". Потом плюнул на колесо нашей машине и пошел к своей "десятке". На спине у него желтыми буквами было написано ДПС.

Черная "десятка" взвизгнула колесами, рванула с места как ракета и умчалась.

Мы еще немного посидели молча.

- Кто это такой? - спросила мама. - Почему он такой нервный?

- Дурак потому что совсем - ответил я. - ДПС. А нервный потому, что ехал быстро и чуть в нас не врезался. Он сам виноват. Мы ехали правильно.

- На моего брата тоже на прошлой неделе наорали - сказал Фофан. - А ДПС это дорожно-патрульная служба.

- Он сам виноват и на нас же наорал? - сказала мама. - Тогда это не ДПС. Это ХАМ.

- А как это переводится? - спросил я.

- Никак - ответила мама. - Хам, он и есть хам.

Папа тронул машину, и мы поехали дальше.

- Расстроился? - спросила мама. - Не надо. Ты ведь правильно ехал?

- Да - ответил папа.

- Ну и забудь - сказала мама. - Мало ли хамов на свете. Хоть в форме, хоть без формы. Ну, сэкономили родители на его воспитании. Так это их беда. Он и на них так же, наверное, орет.

- Да - снова ответил папа.

Потом он замолчал и всю дорогу до дачи больше не сказал ни слова.

И.С. Тургенев

Старуха

Я шел по широкому полю, один. И вдруг мне почудились легкие, осторожные шаги за моей спиною... Кто-то шел по моему следу. Я оглянулся – и увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо. Я подошел к ней... Она остановилась.

– Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?

Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были застланы полупрозрачной, беловатой перепонкой, или плевой, какая бывает у иных птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света.

Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зениц... из чего я заключил, что она слепая.

– Хочешь милостыни? – повторил я свой вопрос. – Зачем ты идешь за мною? – Но старушка по-прежнему не отвечала, а только съежилась чуть-чуть.

Я отвернулся от нее и пошел своей дорогой.

И вот опять слышу я за собою те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги.

"Опять эта женщина! – подумалось мне. – Что она ко мне пристала? – Но я тут же мысленно прибавил: – Вероятно, она сослепу сбилась с дороги, идет теперь по слуху за моими шагами, чтобы вместе со мною выйти в жилое место. Да, да; это так".

Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей.

Однако я продолжаю идти... Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится... какая-то яма... "Могила! – сверкнуло у меня в голове. – Вот куда она толкает меня!"

Я круто поворачиваю назад... Старуха опять передо мною... но она видит! Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик...

"Ах! – думаю я... – эта старуха – моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку!"

"Не уйти! не уйти! Что за сумасшествие?.. Надо попытаться". И я бросаюсь в сторону, по другому направлению.

Я иду проворно... Но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною, близко, близко... И впереди опять темнеет яма. Я опять поворачиваю в другую сторону... И опять тот же шелест сзади и то же грозное пятно впереди.

И куда я ни мечусь, как заяц на угонках... всё то же, то же!

"Стой! – думаю я. – Обману ж я ее! Не пойду я никуда!" – и я мгновенно сажусь на землю.

Старуха стоит позади, в двух шагах от меня. Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут.

И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне!

Боже! Я оглядываюсь назад... Старуха смотрит прямо на меня – и беззубый рот скривлен усмешкой...

– Не уйдешь!

Леонид Каминский

Сочинение

Лена сидела за столом и делала уроки. Смеркалось, но от снега, лежавшего во дворе сугробами, в комнате было ещё светло. Перед Леной лежала раскрытая тетрадь, в которой было написано всего две фразы: «Как я помогаю маме. Сочинение». Дальше работа не шла. Где-то у соседей играл магнитофон. Слышно было, как Алла Пугачёва настойчиво повторяла: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!..». «А правда, – мечтательно подумала Лена, – хорошо, если бы лето не кончалось!.. Загорай себе, купайся, и никаких тебе сочинений!». Она снова прочла заголовок: «Как я помогаю маме». «А как я помогаю? И когда тут помогать, если на дом столько задают!».

В комнате загорелся свет: это вошла мама.

– Сиди, сиди, я тебе мешать не буду, я только в комнате немного приберу. – Она стала протирать книжные полки тряпкой.

Лена начала писать:

«Я помогаю маме по хозяйству. Убираю квартиру, вытираю тряпкой пыль с мебели».

– Что же ты свою одежду разбросала по всей комнате? – спросила мама. Вопрос был, конечно, риторическим, потому что мама и не ждала ответа. Она стала складывать вещи в шкаф.

«Раскладываю вещи по местам», – написала Лена.

– Кстати, передник твой постирать бы нужно, – продолжала мама разговаривать сама с собой.

«Стираю бельё», – написала Лена, потом подумала и добавила: «И глажу».

– Мама, у меня там на платье пуговица оторвалась, – напомнила Лена и написала: «Пришиваю пуговицы, если нужно».

Мама пришила пуговицу, потом вышла на кухню и вернулась с ведром и шваброй.

Отодвигая стулья, стала протирать пол.

– Ну-ка подними ноги, – сказала мама, проворно орудуя тряпкой.

– Мама, ты мне мешаешь! – проворчала Лена и, не опуская ног, написала: «Мою полы».

Из кухни потянуло чем-то горелым.

– Ой, у меня картошка на плите! – крикнула мама и бросилась на кухню.

«Чищу картошку и готовлю ужин», – написала Лена.

– Лена, ужинать! – позвала из кухни мама.

– Сейчас! – Лена откинулась на спинку стула и потянулась.

В прихожей раздался звонок.

– Лена, это к тебе! – крикнула мама.

В комнату, румяная от мороза, вошла Оля, одноклассница Лены.

– Я ненадолго. Мама послала за хлебом, и я решила по дороге – к тебе.

Лена взяла ручку и написала: «Хожу в магазин за хлебом и другими продуктами».

– Ты что, сочинение пишешь? – спросила Оля. – Дай-ка посмотреть.

Оля заглянула в тетрадь и прыснула:

– Ну, ты даёшь! Да это же всё неправда! Ты же всё это сочинила!

– А кто сказал, что нельзя сочинять? – обиделась Лена. – Ведь поэтому так и называется: со-чи-не-ние!

Чехов Антон

Житейская мелочь

— А, здравствуй, мой друг! — сказал Беляев. — Это ты? А я тебя и не заметил. Мама здорова?

Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева.

— Как вам сказать? — сказал он и пожал плечами. — Ведь мама в сущности никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит.

Беляев от нечего делать стал рассматривать лицо Алеши. Раньше он во всё время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования: торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль играет — и думать об этом как-то не хочется.

В вечерних сумерках лицо Алеши с его бледным лбом и черными немигающими глазами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какою она была на первых страницах романа. И ему захотелось приласкать мальчика.

— Поди-ка сюда, клоп! — сказал он. — Дай-ка я на тебя поближе погляжу.

Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву.

— Ну? — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо. — Что? Живешь?

— Как вам сказать? Прежде жилось гораздо лучше.

— Почему?

— Очень просто! Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают.

Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой.

— Когда я поступлю в гимназию, — говорил он, — мама мне купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила... Ка-кой ме-даль-он! У папы точно такой же медальон, только у вас тут полосочки, а у него буквы... В середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка, не кольцами, а лентой...

— Откуда ты знаешь? Разве ты видаешь папу?

— Я? Мм... нет! Я...

Алеша покраснел и в сильном смущении, уличенный во лжи, стал усердно царапать ногтем медальон. Беляев пристально поглядел ему в лицо и спросил:

— Видаешь папу?

— Н...нет!..

— Нет, ты откровенно, по совести... По лицу ведь вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, так нечего уж тут вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески!

Алеша задумался.

— А вы не скажете маме? — спросил он.

— Ну вот еще!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Побожитесь!

— Ах, несносный какой! За кого ты меня принимаешь!

Алеша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал:

— Только, ради бога, не говорите маме... Вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай бог, узнает мама, то достанется и мне, и Соне, и Пелагее... Ну, слушайте. С папой я и Соня видимся каждый вторник и пятницу. Когда Пелагея водит нас перед обедом гулять, то мы заходим в кондитерскую Апфеля, а там уж нас ждет папа... Он всегда в отдельной комнатке сидит, где, знаете, этакий мраморный стол и пепельница в виде гуся без спины...

— Что же вы там делаете?

— Ничего! Сначала здороваемся, потом все садимся за столик и папа начинает угощать нас кофеем и пирожками. Соня, знаете, ест пирожки с мясом, а я терпеть не могу с мясом! Я люблю с капустой и с яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, мы стараемся есть как можно больше.

Тэффи Надежда

Экзамен

Следующий экзамен был по истории. Классная дама предупредила строго:

– Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!

Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку. Зато на другой день – последний перед экзаменами – пролежала на диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией. Вечером села за Иловайского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай…». Усмехнулась горько и сказала:

– Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтораста, другое дело было бы!

В классе старая картина. Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель. Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: «Господи, дай».

Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!

– Госпожа Куксина Мария! Нет, не успела!

Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.

– Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?

Что-то забрезжило в усталой Маничкиной голове:

– Жизнь Анны Иоанновны была чревата… Анна Иоанновна чревата… Войны Анны Иоанновны были чреваты…

Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:

– Последствия у Анны Иоанновны были чреватые…

И замолчала.

Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу.

Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: «За что мучаешь животных?»

– Не расскажете ли теперь, госпожа Куксина, – вкрадчиво спросил учитель, – почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?

Маничка чувствовала, что это последний вопрос, вопрос, влекущий огромные, самые «чреватые последствия». Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно.

– Ну-с? – торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ. – Почему же ее прозвали Орлеанской?

Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:

– Потому что она была девица.

Елена Пономаренко

Леночка
(Трек «Поиск раненых» из фильма «Звезда»)

Теплом и гомоном грачей наполнялась весна. Казалось, что уже сегодня кончится война. Уже четыре года как я на фронте. Почти никого не осталось в живых из санинструкторов батальона.

Моё детство как-то сразу перешло во взрослую жизнь. В перерывах между боями я часто вспоминала школу, вальс… А наутро война. Решили всем классом идти на фронт. Но девчонок оставили при больнице проходить месячные курсы санинструкторов.

Когда я прибыла в дивизию, уже видела раненых. Говорили, что у этих ребят даже оружия не было: добывали в бою. Первое ощущение беспомощности и страха я испытала в августе сорок первого…

— Ребята есть кто живой? – пробираясь по окопам, спрашивала я, внимательно вглядываясь в каждый метр земли. – Ребята, кому помощь нужна?

Я переворачивала мёртвые тела, все они смотрели на меня, но никто не просил помощи, потому что уже не слышали. Артналёт уничтожил всех…

— Ну не может такого быть, хоть кто-то же должен остаться в живых?! Петя, Игорь, Иван, Алёшка! – я подползла к пулемёту и увидела Ивана.

— Ванечка! Иван! – закричала во всю мощь своих лёгких, но тело уже остыло, только голубые глаза неподвижно смотрели в небо.

Спустившись во второй окоп, я услышала стон.

— Есть кто живой? Люди, отзовитесь хоть кто-нибудь! – опять закричала я.

Стон повторился, неясный, глухой. Бегом побежала мимо мёртвых тел, ища его, оставшегося в живых.

— Миленький! Я здесь! Я здесь!

И опять стала переворачивать всех, кто попадался на пути.

– Нет! Нет! Нет! Я обязательно тебя найду! Ты только дождись меня! Не умирай! – и спрыгнула в другой окоп.

Вверх, взлетела ракета, осветив его. Стон повторился где-то совсем рядом.

— Я же потом никогда себе не прощу, что не нашла тебя, – закричала я и скомандовала себе: — Давай. Давай, прислушивайся! Ты его найдёшь, ты сможешь!

Ещё немного – и конец окопа. Боже, как же страшно! Быстрее, быстрее! «Господи, если ты есть, помоги мне его найти!» – и я встала на колени. Я, комсомолка, просила Господа о помощи…

Было ли это чудом, но стон повторился. Да он в самом конце окопа!

— Держись! – закричала я что есть сил и буквально ворвалась в блиндаж, прикрытый плащ-палаткой.

— Родненький, живой! – руки работали быстро, понимая, что он уже не жилец: тяжелейшее ранение в живот. Свои внутренности он придерживал руками.

— Тебе придётся пакет доставить, – тихо прошептал он, умирая.

Я прикрыла его глаза. Передо мной лежал совсем молоденький лейтенант.

— Да как же это?! Какой пакет? Куда? Ты не сказал куда? Ты не сказал куда! – осматривая все вокруг, вдруг увидела торчащий в сапоге пакет.

«Срочно, – гласила надпись, подчёркнутая красным карандашом. – Полевая почта штаба дивизии».

Сидя с ним, молоденьким лейтенантом, прощалась, а слезы катились одна за другой. Забрав его документы, шла по окопу, шатаясь, меня подташнивало, когда закрывала по пути глаза мёртвым бойцам.

Пакет я доставила в штаб. И сведения там, действительно, оказались очень важными. Только вот медаль, которую мне вручили, мою первую боевую награду, никогда не надевала, потому как принадлежала она тому лейтенанту, Останькову Ивану Ивановичу.

…После окончания войны я передала эту медаль матери лейтенанта и рассказала, как он погиб.

А пока шли бои… Четвёртый год войны. За это время я совсем поседела: рыжие волосы стали совершенно белыми. Приближалась весна с теплом и грачиным гомоном…

Джанни Родари

Вопросы наизнанку

Жил-был один мальчик, который целые дни только и делал, что приставал ко всем с вопросами. В этом, конечно, нет ничего плохого, напротив, любознательность - дело похвальное. Но беда в том, что на вопросы этого мальчика никому не удавалось ответить.

Например, приходит он однажды и спрашивает:

- Почему у ящиков есть стол?

Конечно, люди только удивленно открывали глаза или на всякий случай отвечали:

- Ящики служат для того, чтобы в них что-нибудь класть. Ну, скажем, обеденные приборы.

- Я знаю, зачем ящики. А вот почему у ящиков есть столы?

Люди качали головами и спешили уйти. В другой раз он спрашивал:

- Почему у хвоста есть рыба?

Или еще:

- Почему у усов есть кошка?

Люди пожимали плечами и спешили уйти, потому что у всех были свои дела.

Мальчик подрастал, но по-прежнему оставался почемучкой, и не простым, а почемучкой наизнанку. Даже став взрослым, он ходил и приставал ко всем с вопросами. Само собой понятно, что никто, ни один человек, не мог на них ответить. Совсем отчаявшись, почемучка наизнанку удалился на вершину горы, построил себе хижину и придумывал там на свободе все новые и новые вопросы. Придумывал, записывал их в тетрадку, а потом ломал голову, стараясь найти ответ Однако ни разу в жизни он не ответил ни на один из своих вопросов.

Да и как было ответить, если в тетрадке у него было написано: "Почему у тени есть сосна?" "Почему облака не пишут писем?" "Почему почтовые марки не пьют пива?" От напряжения у него начались головные боли, но он не обращал на это внимания и все придумывал и придумывал свои бесконечные вопросы. Мало-помалу у него отросла длинная борода, но он даже не думал ее подстригать. Вместо этого он придумал новый вопрос: "Почему у бороды есть лицо?"

Одним словом, это был чудак, каких мало. Когда он умер, один ученый стал исследовать его жизнь и сделал удивительное научное открытие. Оказалось, что этот почемучка с детства привык надевать чулки наизнанку и надевал их так всю жизнь. Ни разу ему не удавалось надеть их как полагается. Поэтому-то он до самой смерти не мог научиться задавать правильные вопросы.

А посмотри-ка на свои чулки, верно ли ты их надел?

Оскард Уайльд

Соловей и роза

Между тем соловей сидел на дубу и ждал, когда взойдет луна.

С ее восходом он снялся и полетел к розовому кусту.

Прижавшись грудью к острому шипу, он запел...

По мере того как одна песня сменяла другую, острый шип все больше и больше вонзался в грудь соловья, переливая его кровь в розовый куст.

И всю ночь холодная серебряная луна слушала песни соловья.

А над шипом зацветала прекрасная роза; с каждой песней она развертывала по лепестку. Сначала роза была бледна, как туманная утренняя заря. Но с проблесками рассвета она стала принимать нежно-розовую окраску.

— Прижимайся крепче, птичка, — сказал куст соловью,— иначе роза не расцветет с наступлением дня...

Соловей стал крепче жаться к шипу и еще звонче начал петь, восхваляя нежную любовь молодости. На лепестках розы появился легкий нежный румянец; но роза еще не окрасилась пурпуром, потому что шип не коснулся пока сердца соловья.

— Ближе, крепче прижмись, иначе роза не расцветет до утра!— потребовал опять куст.

Соловей крепче прильнул к шипу, и шип коснулся его сердца. Острая боль зажглась в нем. Но еще звучнее стала песнь соловья. Он пел о вечной, бессмертной любви, которая не боится даже и смерти.

И вдруг... роза зарделась и расцвела, как пурпурная заря востока. Ее лепестки стали подобны рубину.

Но что же с соловьем?

Его голос вдруг ослабел, глаза затуманились, крылышки затрепетали... Он издал последний слабый звук... Казалось, что бледная луна позабыла о рассвете и застыла...

— Гляди, гляди,— закричало соловью деревцо,— ведь роза расцвела!

Но соловей уже не слыхал этого восклицания: он был мертв и лежал бездыханным на траве.

Антон Павлович Чехов

Глупый француз

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

- Дайте мне консоме! - приказал он половому.

- Прикажете с пашотом или без пашота?

- Нет, с пашотом слишком сытно... Две-три гренки, пожалуй, дайте...

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. "Как, однако, много подают в русских ресторанах! - подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. - Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?". Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут...

- Челаэк!--обернулся он к половому. - Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка... семги, что ли!

"Странно... - подумал Пуркуа, рассматривая соседа.

- Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости... У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет... Говорят, что есть также болезни, когда много едят..."

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный... "Очевидно, болен... - подумал француз. - И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!".

- Дай еще икры! - крикнул сосед, утирая салфеткой масленые губы. - Не забудь зеленого луку!

"Но... однако, уж половины горы нет! - ужаснулся клоун. - Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно... Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота... Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги... Боже, уже нет горы!"

- Подашь бутылку Нюи... - сказал сосед, принимая от полового икру и лук. - Только погрей сначала... Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов...Поскорей только...

- Слушаю... А на после блинов что прикажете?

- Что-нибудь полегче... Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и... и... Я подумаю, ступай!

"Может быть, это мне снится? - изумился клоун, откидываясь на спинку стула. - Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да, да, он хочет умереть! Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!". Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом:

- Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

- То есть, э... э... они требуют-с! Как же не подавать-с? – удивился половой.

- Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел. "Дикари! - возмутился про себя француз. - Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!"

- Порядки, нечего сказать! - проворчал сосед, обращаясь к французу.

- Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к черту и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

- Pardon, monsieur, - побледнел Пуркуа, - ведь вы уж обедаете!

- Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины...

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать... "Бедняга... - продолжал ужасаться француз. - Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно... с целью самоубийства... Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!". И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари... "По-видимому, человек интеллигентный, молодой... полный сил... – думал он, глядя на соседа. - Быть может, приносит пользу своему отечеству... и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей... Судя по одежде, он должен быть богат, доволен... но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает, как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!". Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

- Послушайте, monsieur, - обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. - Я не имею чести быть знаком с вами, но тем не менее, верьте, я друг ваш... Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды... у вас жена, дети...

- Я вас не понимаю! - замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

- Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что... трудно не подозревать...

- Я много ем?! - удивился сосед. - Я?! Полноте... Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

- Но вы ужасно много едите!

- Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов... За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру... с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. "О, страна чудес! - думал Пуркуа, выходя из ресторана. - Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, страна, чудная страна!".

Ирина Пивоварова

Весенний дождь

Не хотелось мне вчера учить уроки. На улице было такое солнце! Такое тёплое жёлтенькое солнышко! Такие ветки качались за окном!.. Мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до каждого клейкого зелёного листика. Ох, как будут пахнуть руки! И пальцы слипнутся вместе — не отдерёшь друг от друга... Нет, не хотелось мне учить уроки.

Я вышла на улицу. Небо надо мной было быстрое. Куда-то спешили по нему облака, и ужасно громко чирикали на деревьях воробьи, и на лавочке грелась большая пушистая кошка, и было так хорошо, что весна!

Я гуляла во дворе до вечера, а вечером мама с папой ушли в театр, и я, так и не сделав уроков, легла спать.

Утро было тёмное, такое тёмное, что вставать мне совсем не хотелось. Вот так всегда. Если солнышко, я сразу вскакиваю. Я одеваюсь быстро-быстро. И кофе бывает вкусный, и мама не ворчит, и папа шутит. А когда утро такое, как сегодня, я одеваюсь еле-еле, мама меня подгоняет и злится. А когда я завтракаю, папа делает мне замечания, что я криво сижу за столом.

По дороге в школу я вспомнила, что не сделала ни одного урока, и от этого мне стало ещё хуже. Не глядя на Люську, я села за парту и вынула учебники.

Вошла Вера Евстигнеевна. Урок начался. Сейчас меня вызовут.

— Синицына, к доске!

Я вздрогнула. Чего мне идти к доске?

— Я не выучила, — сказала я.

Вера Евстигнеевна удивилась и поставила мне двойку.

Ну почему мне так плохо живётся на свете?! Лучше я возьму и умру. Тогда Вера Евстигнеевна пожалеет, что поставила мне двойку. А мама с папой будут плакать и всем говорить: «Ах, зачем мы сами ушли в театр, а её оставили совсем одну!»

Вдруг меня в спину толкнули. Я обернулась. Мне в руки сунули записку. Я развернула узкую длинную бумажную ленточку и прочла:

«Люся! Не отчаивайся!!! Двойка — это пустяки!!! Двойку ты исправишь! Я тебе помогу! Давай с тобой дружить! Только это тайна! Никому ни слова!!! Яло-кво-кыл».

В меня сразу как будто что-то тёплое налили. Я так обрадовалась, что даже засмеялась. Люська посмотрела на меня, потом на записку и гордо отвернулась.

Неужели это мне кто-то написал? А может, эта записка не мне? Может, она Люське? Но на обратной стороне стояло: ЛЮСЕ СИНИЦЫНОЙ.

Какая замечательная записка! Я в жизни таких замечательных записок не получала! Ну конечно, двойка — это пустяки! О чём разговор?! Двойку я просто исправлю!

Я ещё раз двадцать перечла: «Давай с тобой дружить...»

Ну конечно! Конечно, давай дружить! Давай с тобой дружить!! Пожалуйста! Очень рада! Я ужасно люблю, когда со мной хотят дружить!..

Но кто же это пишет? Какой-то ЯЛО-КВО-КЫЛ. Непонятное слово. Интересно, что оно обозначает? И почему этот ЯЛО-КВО-КЫЛ хочет со мной дружить?.. Может быть, я всё-таки красивая?

Я посмотрелась в парту. Ничего красивого не было.

Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая. А что, я плохая, что ли? Конечно, хорошая! Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет!

На радостях я толкнула локтем Люську.

— Люсь, а со мной один человек хочет дружить!

— Кто? — сразу спросила Люська.

— Я не знаю кто. Тут как-то непонятно написано.

— Покажи, я разберу.

— Честное слово, никому не скажешь?

— Честное слово!

Люська прочла записку и скривила губы:

— Какой-то дурак написал! Не мог своё настоящее имя сказать.

— А может, он стесняется?

Я оглядела весь класс. Кто же мог написать записку? Ну кто?.. Хорошо бы, Коля Лыков! Он у нас в классе самый умный. Все хотят с ним дружить. Но ведь у меня столько троек! Нет, вряд ли он.

А может, это Юрка Селивёрстов написал?.. Да нет, мы с ним и так дружим. Стал бы он ни с того ни с сего мне записку посылать!

На перемене я вышла в коридор. Я встала у окна и стала ждать. Хорошо бы, этот ЯЛО-КВО-КЫЛ прямо сейчас же со мной подружился!

Из класса вышел Павлик Иванов и сразу направился ко мне.

Так, значит, это Павлик написал? Только этого ещё не хватало!

Павлик подбежал ко мне и сказал:

— Синицына, дай десять копеек.

Я дала ему десять копеек, чтобы он поскорее отвязался. Павлик тут же побежал в буфет, а я осталась у окна. Но больше никто не подходил.

Вдруг мимо меня стал прогуливаться Бураков. Мне показалось, что он как-то странно на меня взглядывает. Он остановился рядом и стал смотреть в окно. Так, значит, записку написал Бураков?! Тогда уж лучше я сразу уйду. Терпеть не могу этого Буракова!

— Погода ужасная, — сказал Бураков.

Уйти я не успела.

— Да, погода плохая, — сказала я.

— Погодка — хуже не бывает, — сказал Бураков.

— Жуткая погода, — сказала я.

Тут Бураков вынул из кармана яблоко и с хрустом откусил половину.

— Бураков, дай откусить, — не выдержала я.

— А оно горькое, — сказал Бураков и пошёл по коридору.

Нет, записку не он написал. И, слава богу! Второго такого жадины на всём свете не найдёшь!

Я презрительно посмотрела ему вслед и пошла в класс. Я вошла и обомлела. На доске огромными буквами было написано:

ТАЙНА!!! ЯЛО-КВО-КЫЛ + СИНИЦЫНА = ЛЮБОВЬ!!! НИКОМУ НИ СЛОВА!

В углу шушукалась с девчонками Люська. Когда я вошла, они все уставились на меня и стали хихикать.

Я схватила тряпку и бросилась вытирать доску.

Тут ко мне подскочил Павлик Иванов и зашептал в самое ухо:

— Это я тебе написал записку.

— Врёшь, не ты!

Тогда Павлик захохотал, как дурак, и заорал на весь класс:

— Ой, умора! Да чего с тобой дружить?! Вся в веснушках, как каракатица! Синица дурацкая!

И тут не успела я оглянуться, как к нему подскочил Юрка Селивёрстов и ударил этого болвана мокрой тряпкой прямо по башке. Павлик взвыл:

— Ах, так! Всем скажу! Всем, всем, всем про неё скажу, как она записки получает! И про тебя всем скажу! Это ты ей записку послал! — И он выбежал из класса с дурацким криком: — Яло-кво-кыл! Яло-кво- кыл!

Уроки кончились. Никто ко мне так и не подошёл. Все быстро собрали учебники, и класс опустел. Одни мы с Колей Лыковым остались. Коля всё никак не мог завязать шнурок на ботинке.

Скрипнула дверь. Юрка Селивёрстов всунул голову в класс, посмотрел на меня, потом на Колю и, ничего не сказав, ушёл.

А вдруг? Вдруг это всё-таки Коля написал? Неужели Коля?! Какое счастье, если Коля! У меня сразу пересохло в горле.

— Коль, скажи, пожалуйста, — еле выдавила из себя я, — это не ты, случайно...

Я не договорила, потому что вдруг увидела, как Ко- лины уши и шея заливаются краской.

— Эх, ты! — сказал Коля, не глядя на меня. — Я думал, ты... А ты...

— Коля! — закричала я. — Так ведь я...

— Болтушка ты, вот кто, — сказал Коля. — У тебя язык как помело. И больше я с тобой дружить не хочу. Ещё чего не хватало!

Коля наконец справился со шнурком, встал и вышел из класса. А я села на своё место.

Никуда я не пойду. За окном идёт такой ужасный дождь. И судьба моя такая плохая, такая плохая, что хуже не бывает! Так и буду сидеть здесь до ночи. И ночью буду сидеть. Одна в тёмном классе, одна во всей тёмной школе. Так мне и надо.

Вошла тётя Нюра с ведром.

— Иди, милая, домой, — сказала тётя Нюра. — Дома мамка заждалась.

— Никто меня дома не заждался, тётя Нюра, — сказала я и поплелась из класса.

Плохая моя судьба! Люська мне больше не подруга. Вера Евстигнеевна поставила мне двойку. Коля Лыков... Про Колю Лыкова мне и вспоминать не хотелось.

Я медленно надела в раздевалке пальто и, еле волоча ноги, вышла на улицу...

На улице шёл замечательный, лучший в мире весенний дождь!!!

По улице, задрав воротники, бежали весёлые мокрые прохожие!!!

А на крыльце, прямо под дождём, стоял Коля Лыков.

— Пошли,— сказал он.

И мы пошли.

Евгений Носов

Живое пламя

Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала:

- Будет писать-то! Поди проветрись, клумбу помоги разделать. Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку, разложила по сортам пакетики с цветочными семенами.

- Ольга Петровна, а что это, - замечаю я, - не сеете вы на клумбах маков?

- Ну, какой из маков цвет! - убежденно ответила она. - Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.

- Что вы! - рассмеялся я. - Еще в какой-то старинной песенке поется:

А лоб у нее, точно мрамор, бел. А щеки горят, будто маков цвет.

- Цветом он всего два дня бывает, - упорствовала Ольга Петровна. - Для клумбы это никак не подходит, пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка и только вид портит.

Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела.

- Ты маков посеял? - подступилась ко мне тетя Оля. - Ах озорник ты этакий! Так уж и быть, тройку оставила, тебя пожалела. А остальные все выполола.

Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежевымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень.

- Квасу налить? - предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. - Алешка очень любил квас. Бывало, сам по бутылкам разливал и запечатывал

Когда я снимал эту комнату, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила:

- Не помешает?

- Что вы!

- Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье.

Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:

- А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили. Я пошел посмотреть на цветы. В центре клумбы, над всей цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона.

Распустились они на другой день.

Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громыхая пустой лейкой.

- Ну, иди, смотри, зацвели.

Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал их, солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что, стоит только прикоснуться - сразу опалят!

Два дня буйно пламенели маки. А на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто.

Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.

- Вот и все, - сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения.

- Да, сгорел... - вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. - А я как-то раньше без внимания к маку-то этому… Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...

Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой ковер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.

Илья Турчин

Крайний случай

Так и дошёл Иван до Берлина, неся на своих могучих плечах свободу. В руках у него был неразлучный друг - автомат. За пазухой - краюшка материнского хлеба. Так и сберёг краюшку до самого Берлина.

9 мая 1945 года разгромленная фашистская Германия сдалась. Смолкли орудия. Остановились танки. Отвыли сигналы воздушных тревог.

Тихо стало на земле.

И люди услышали, как шуршит ветер, растёт трава, поют птицы.

В этот час попал Иван на одну из берлинских площадей, где ещё догорал подожжённый фашистами дом.

Площадь была пуста.

И вдруг из подвала горящего дома вышла маленькая девочка. У неё были тоненькие ножки и потемневшее от горя и голода лицо. Нетвёрдо ступая по залитому солнцем асфальту, беспомощно протянув руки, будто слепая, девочка пошла навстречу Ивану. И такой маленькой и беспомощной показалась она Ивану на огромной пустой, будто вымершей, площади, что он остановился, и сердце его стиснула жалость.

Достал Иван из-за пазухи драгоценную краюшку, присел на корточки и протянул девочке хлеб. Никогда ещё краюшка не была такой тёплой. Такой свежей. Никогда ещё так не пахла ржаной мукой, парным молоком, добрыми материнскими руками.

Девочка улыбнулась, а худенькие пальцы вцепились в краюшку.

Иван осторожно поднял девочку с опалённой земли.

А в этот миг из-за угла выглянул страшный, обросший Фриц - Рыжий лис. Что ему было до того, что кончилась война! Только одна мысль крутилась в его помутившейся фашистской голове: "Найти и убить Ивана!".

И вот он, Иван, на площади, вот его широкая спина.

Фриц - Рыжий лис достал из-под пиджака поганый пистолет с кривым дулом и выстрелил предательски из-за угла.

Пуля попала Ивану в самое сердце.

Дрогнул Иван. Пошатнулся. Но не упал - побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжёлым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ, лицо. Бронзовой - девочка на его руках. Бронзовым - грозный автомат за могучими плечами.

С бронзовой щеки девочки скатилась слеза, ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч. Взялся бронзовый Иван за его рукоятку.

Закричал Фриц - Рыжий лис от ужаса и страха. Дрогнула от крика обгорелая стена, рухнула и похоронила его под собой...

И в ту же минуту краюшка, что оставалась у матери, тоже бронзовой стала. Поняла мать, что стряслась с сыном беда. Кинулась на улицу, побежала, куда сердце повело.

Спрашивают её люди:

- Куда торопишься?

- К сыну. С сыном беда!

И подвозили её на машинах и на поездах, на пароходах и на самолётах. Быстро добралась мать до Берлина. Вышла она на площадь. Увидела бронзового сына - подкосились у неё ноги. Упала мать на колени, да так и замерла в вечной скорби своей.

Бронзовый Иван с бронзовой девочкой на руках и по сей день стоит в городе Берлине - всему миру виден. А присмотришься - заметишь между девочкой и широкой Ивановой грудью бронзовую краюшку материнского хлеба.

И если на Родину нашу нападут враги, оживёт Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат и - горе врагам!

И.А. Бунин

Холодная осень

В июне того года он гостил у нас в имении - всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам на сутки - проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

- Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, - мы знали какой, - и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

- Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

- Да, если позволите, утром, - ответил он. - Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

- Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра... Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, - я вздумала раскладывать пасьянс, он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

- Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

- Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
Смотри - меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. "Надень свою шаль и капот..." Времена наших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой! Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

- Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер... Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке.

Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

- Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? Я подумала: "А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то срок - ведь все в конце концов забывается?" И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

- Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

- Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, - в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, - и мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку. Постояв, вошли в опустевший дом.... Убили его - какое странное слово! - через месяц. Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то,что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, - остальное ненужный сон. И я верю: где-то там он ждет меня - с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. "Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне..."

Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

Андрей Платонов

«Любовь к Родине, или Путешествие воробья»

Сказочное происшествие

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину.

Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, — и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды °т своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина...

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, — он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он не даром прилетал — хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр — на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нем: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло еще пять дней, а воробей всё не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с накрошенным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в Футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

* * *

В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, — и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала снегом помещение футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наедаться надолго. Старик подошел к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем

сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсионер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Всё же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, — худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

* * *

Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порылся ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане. Выспавшись, он проснулся, но

буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, — ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съежился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают. Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато и тепла не было, — он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.

Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться. Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь День, пока ему не стало стыдно и отвратительно; он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покупать еще немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения. Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, — и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые

глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

* * *

Старый музыкант понял, что седой знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит по ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда- то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходилось сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замирания сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в Ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас

Уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он

пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону — сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури.

Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, — летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

* * *

В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру Дома он, по обыкновению, накормил черепаху а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

— Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

— Давай, — сказал он. — А где вы ее взяли?

— Она сама с неба на камни упала, — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошел дальше. Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется. Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.

Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! — подумал старый человек. — Значит, сердце его отошло от смерти!» — и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, — там лежала вата, там воробью будет мягко. На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете. Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.

Константин Паустовский

«Прощание с летом»

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит всё дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и всё пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами всё было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова всё стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром всё хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина, и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные, снеговые тучи.

В лесах становилось всё сумрачнее, всё тише, и, наконец, пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

Антон Чехов

«Белолобый»

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье.

Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и, прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка.

Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок.

Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го- го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении, вероятно решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? — думала волчиха с досадой. — Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело, и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту.

Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по- весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним.

В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту.

Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко.

Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги.

Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат. — Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружье дало осечку; он спустил еще раз — опять осечка; он спустил в третий раз — и громадный огненный сноп вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум...

Немного погодя, он вернулся в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего... — ответил Игнат. — Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь. — Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Всеволод Гаршин

«Сказка о жабе и розе»

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть ее к брюху.

Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем

каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра. — Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Ее заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой, — прохрипела она, — я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторила она, всё глядя на цветок.

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она, — хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно- зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень, роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поет для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лезла всё вверх — и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша, — вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

— Ах, какая гадость! — вскрикнула она.

И схватив ветку, она сильно тряхнула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

— Дай ее мне, — прошептал он. — Я понюхаю.

Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне.

Потому-то я и знаю всю эту историю.

Сергей Баруздин

Простуженный ёжик

Было это поздней осенью в последний год войны. Шли бои на польской земле.

Однажды ночью мы обосновались в лесу. Разожгли костёр, согрели чай. Все улеглись спать, а я остался дежурить. Через два часа меня должен был сменить на посту другой солдат.

Сидел я с автоматом у догоравшего костра, на угольки посматривал, к шорохам лесным прислушивался. Ветер шелестит сухой листвой да в голых ветвях посвистывает.

Вдруг слышу — шорох. Будто кто-то по земле ползёт. Я встал. Автомат наготове держу. Слушаю — шорох смолк. Опять сел. Снова шуршит. Где-то совсем рядом со мной.

Что за оказия!

Глянул я под ноги. Вижу — кучка сухой листвы, да будто живая: сама собой движется. А внутри, в листьях, что-то фыркает, чихает. Здорово чихает! Присмотрелся получше: ёжик. Мордочка с маленькими чёрными глазками, Уши торчком, на грязно-жёлтых иглах листья наколоты. Подтащил ёжик листья поближе к тёплому местечку, где костёр был, поводил носом по земле, чихнул несколько раз. Видно, простудился от холода.

Тут время моей смены настало. Заступил на пост солдат — казах Ахметвалиев. Увидел он ежа, услыхал, как тот чихает, и ну меня ругать:

— Ай, нехорошо! Ай, нехорошо! Сидишь и смотришь спокойно. А у него, может, грипп или воспаление. Смотри, весь дрожит. И температура, наверное, очень большая. В машину его надо взять, лечить его надо, а потом на волю выпускать...

Так мы и сделали. Положили ёжика вместе с охапкой листьев в наш походный «газик». А Ахметвалиев на следующий день тёплого молока где-то раздобыл. Ёжик напился молока, согрелся и опять уснул. За всю дорогу несколько раз чихнул и перестал — поправился. Так всю зиму у нас в машине и прожил!

А когда весна настала, мы его на волю выпустили. На свежую травку. И какой день тогда выдался! Яркий, солнечный! Настоящий весенний день!

Только было это уже в Чехословакии. Ведь и весну, и победу мы там встречали.

Евгений Носов

«Таинственный музыкант»

Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. Поздняя осень уже раздела кусты лозняка и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. Лишь на концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек ещё трепетали по пять-шесть таких же бледно-жёлтых листков. Это всё, что осталось от пышного карнавала осени.

Было пасмурно и ветрено. Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, лизали почерневшие водоросли, вытащенные на берег рыбацким неводом.

И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычайностью звуки. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой печали мелодия робко вплеталась в неугомонное ворчание хмурой реки. Звуки мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку, эту тонкую ниточку загадочной трели.

Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук становился густым и в нём отчетливо улавливался тембр. Когда же ветер усиливался, звуки забирались всё выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала и всхлипывала. Но дирижёр-ветер был неумолим, он настойчиво требовал от скрипача новых и новых усилий. И тогда таинственный музыкант, казалось, не выдерживал темпа, срывался, и... слышались только сердитые всплески волн и шорох опавших листьев.

Как заворожённый слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной отмели. Я прислушивался снова и снова, и напев всё время повторялся всё в тех же сочетаниях звуков.

Наконец я установил направление и даже приблизительное место, откуда текла эта тоненькая струйка мелодии. Оно находилось справа, не более чем в двух-трёх шагах от меня. Но там был всё тот же песок, и ничего больше, если не считать полузасыпанной раковины на гребне песчаного холмика. Это была раковина обыкновенного прудовика. Такие у нас встречаются во множестве. Если подойти к берегу водоёма в тихий солнечный день, то у поверхности воды можно увидеть плавающие, как пробки, чёрные, спирально закрученные домики прудовика. Всколыхните веткой зеленоватую гладь, и эти домики медленно, как бы ввинчиваясь в воду, пойдут на дно — подальше от опасности.

Я подошёл к холмику. Широкое входное отверстие ракушки было обращено навстречу ветру и немного в сторону. Край её в одном месте обломан. Я наклонился поближе и окончательно убедился, что волшебный музыкант спрятался в раковине. Оттуда, из глубины спирального, выложенного перламутром убежища, отчётливо слышались звуки крошечной скрипки.

Я осторожно взял раковину, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но ничего особенного не нашёл: обыкновенная, как все другие, которых на песке оказалось довольно много.

Но почему звуки исходили только из этой, а все остальные молчали? Может быть, и в самом деле в ней кто-то запрятался? И мне снова захотелось послушать игру раковины-музыканта.

Я положил её на прежнее место, приготовился слушать. Но «скрипач» молчал. Похоже, что он рассердился за то, что его бесцеремонно потревожили, и ожидал, пока я снова уйду.

Я, конечно, догадался, что слышанную мной мелодию извлекал из раковины ветер. Но почему после того, как домишко прудовика был водворён на прежнее место, он больше не мог извлечь ни единого звука? И тут я понял, что допустил роковую ошибку, сдвинув раковину с места. Из множества других, видимо, только она лежала по отношению к ветру так, что на малейшее его дуновение тотчас отвечала звучанием. Возможно, этому ещё способствовала та самая щербатина, которую я обнаружил на краю отверстия, и даже тот песок, которым она была наполовину засыпана.

Долго я возился с ней, клал так и этак, осторожно подсыпал под неё песок, насыпал внутрь, но так и не мог извлечь ни единого звука.

Огорчённый, я положил раковину в карман и пошёл домой.

Теперь она лежала на письменном столе, в картонной коробке с речным песком.

Я видел немало диковинных заморских раковин — необыкновенных размеров, необычайной расцветки, удивительной формы. О многих из них ходят целые истории. Говорят, что если такую раковину приложить к уху, то услышишь шум морского прибоя. Конечно, никаких ударов волн в ней не слышно. Шумит раковина потому, что она помогает уху более чутко улавливать окружающие нас звуки. Да в этом и нетрудно убедиться: накройте ухо ладонью, сложенной лодочкой. Слышите шум? Вот и весь секрет.

А эта, что лежит на моём столе, — скромная серенькая обитательница наших тихих речных затонов, — действительно обладает секретом.

Иногда я выношу мой «музыкальный инструмент» во двор, подставляю под ветер, пытаюсь настроить с помощью песка, но пока это мне не удаётся. Видно, не хватает терпения.

Когда же я оставляю раковину на столе, а сам выхожу в соседнюю комнату, то мне чудится, будто за приоткрытой дверью кто-то осторожно настраивает маленькую скрипку...

Юрий Коваль

Последний лист

Всё лето провалялся в чулане ящик с красками, паутиной оброс.

Но когда наступила осень — вспыхнула по опушкам рябина и налился медью кленовый лист, — я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес.

На опушке остановился, глянул вокруг — и горячими показались гроздья рябин. Красный цвет бил в глаза. А дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжёлыми, красными.

Так я и стал рисовать: рябины и в них перелетают красные тяжёлые дрозды.

Но рисунок не заладился. Горел-полыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке всё оставалось бледным и сумрачным.

— Ты что это? — услышал я за спиной. — Никак, сымаешь?

Оглянулся: дядя Зуй идёт опушкой, в руках ведро с опятами.

— Снимают, Зуюшко, из фотоаппарата. А я рисую.

— Какой молодец-то! — сказал дядя Зуй. — Ну, сымай, сымай!

Ушёл дядя Зуй, а я дальше стал рисовать, но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали!

«Нет, — думаю, — рисовать не моё дело. Возьму лучше завтра ружьё — и...»

«Рррружжжьё-о-о!..» — крикнул вдруг кто-то у меня над головой.

Я прямо оторопел. Гляжу — на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит:

«Рррружжжьё-о-о! Рррружжжьё-о-о! Тр-р...»

Поглядел я, как сойка на рябине сидит, на осенний лес как следует глянул и совсем расстроился.

Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и сгоряча налепил его на рисунок.

— Ну ладно! Пойду завтра зайцев торопить...

Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал.

Зимним вечером пришёл ко мне дядя Зуй чаю попить.

— Ну и ну... — сказал он, показывая на рисунок, прислонённый к стенке. — Листок-то прямо как живой.

— Он и есть живой — настоящий.

— Ловко, — сказал дядя Зуй. — Последний, значит, от осени остался. А это что?

— А это дрозды, Зуюшко. Красные, тяжёлые.

— Верно, — сказал дядя Зуй. — Тяжёлые-то какие! Рябины, наверно, нажрались.

Выпил дядя Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.

— Да, — сказал он, — самый лучший лес — осенний.

— Верно, — сказал я. — Что может быть лучше?

— Ещё бы! Идёшь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?

«Ну что же может быть лучше? — думал я. — Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний...».

Феликс Кривин

Я был тарпаном

Я был тарпаном. Нас был целый табун, и мы неслись по степи, перемахивая через холмы и овраги. Земля пролетала у нас под ногами, и мы были свободны от нее, от земли, и от неба, стынущего над головой, и от скучного долга возвращаться домой, на конюшню. У нас не было дома, у нас ничего не было, чем стоило дорожить на земле.

Мы неслись между степью и солнцем, испепеляющими друг друга вечным жаром любви, а может быть, ненависти. Мы неслись между двумя огнями, как стрела, пущенная нам вслед, или пуля, летящая нам навстречу. И на закате, когда, изнемогая, солнце и степь склонялись друг к другу, мы одни не чувствовали усталости.

Мы ничего общего не имели с мустангами, с этими в прошлом домашними лошадьми, которые отказались ходить в узде, но не смогли отказаться от многих старых привычек. Мы никогда не были домашними. Мы всегда презирали узду, даже если она была из чистого золота.

Мой друг Белогрив, который лучше меня разбирался в жизни, не раз говорил:

- У послушной скотины сена полные закрома, но ноги ее опутаны толстой веревкой. Желудок у нас один, а ног вон сколько, о чем же мы должны больше думать?

И, вместо ответа, Белогрив отрывал от земли свои ноги и уносился в степь, увлекая нас за собой.

Белогрив был самым лучшим из нас. Это понимали все, особенно Рыжая Кобылица.

Сейчас даже странно об этом вспоминать. Белогрива давно нет, и давно нет Рыжей Кобылицы, и из всех тарпанов остался только я, да и то этому никто не поверит. "Тарпан? - спросят. - А что это такое - тарпан?"

Но я был тарпаном! И Рыжая Кобылица - это не выдумка, потому что мы ее любили все, все до одного - до того одного, которого она любила.

И, конечно, это был Белогрив.

Та ночь застала нас посреди степи, и мы жались друг к другу, стараясь укрыться от зябкого ветра. И тут я увидел, как Рыжая Кобылица подошла к Белогриву и положила ему на спину свою красивую голову.

- Холодно? - спросил Белогрив.

- Нет, - она сказала и закрыла глаза.

- Устала? - спросил Белогрив.

- Нет, - сказала Рыжая Кобылица.

И вот Белогрив, который так хорошо разбирался в жизни, на этот раз стал в тупик.

- Тогда я не понимаю... - сказал он и замолчал.

Рыжая Кобылица не отходила от него, и голова ее была у него на спине, и глаза ее были закрыты.

Мы все, сколько нас было в табуне, смотрели на них, но никто не решился им помешать.

- А если я не могу без тебя... - сказала Рыжая Кобылица.

- Глупости, - сказал Белогрив. - Ты просто устала.

- Но ты меня любишь?

- Нет. Все это глупости.

Не знаю, быть может, с тех пор нами овладел страх, и нас все чаще настигали пули и стрелы. Мы уже не летели над землей, а прижимались к ней, выбирая места пониже, чтобы не так бросаться в глаза. Но нас все равно находили и все равно убивали. А потом я остался один...

Но я был, был тарпаном! Я не знал ни этой конюшни, ни этой телеги, я скакал между степью и солнцем, раскаляясь от зноя и бега и видя впереди только степь... И Белогрив - это вовсе не выдумка, и Рыжая Кобылица – не выдумка, и все мы, сколько нас было, не выдумка, не выдумка!

Все-таки когда-то я был тарпаном!

Алексей Казанцев

Братья и Лиза

Лиза. Мама умерла - мне было четырнадцать. И все. Была самая обыкновенная семья. Детство - и все такое. Мы с отцом ревели, наверное, полгода. Потом - он пить начал. Потом - какие-то женщины. Ну ладно, думаю, ему надо - пусть. А потом вдруг, как выпьет, гладит по голове - как ты похожа на свою мать, ну вылитая Настя. Как выпьет, Настей меня называет. И просто ну добиваться начал... Главное, по-иезуитски. Не то чтоб там силой, а я, говорит, хочу, чтобы ты, Лиза-Настя, сама. И мы родные люди. И не стесняйся меня. И мама там, на небесах будет рада. И не могу представить, чтобы первый у тебя был не я. И главное - реши сама. И выхода у тебя нет. Дождешься - я не выдержу. Пожалей меня - я с ума схожу. И как домой приду - его прямо колотить начинает. И если раньше - время от времени, то последний месяц - ну каждый день. У меня экзамены выпускные в школе. Ничего не понимает. На кровать садится: ты - это мама, реши да реши. А вчера бабу привел какую-то с работы, и ну кричать за стеной в два голоса. Раньше какие-то тихие попадались. А эта орет да орет, чтоб все знали, что ли... А отец рычит нарочно громко, чтоб мне больно сделать. Я влетела к ним в комнату: "Я никогда твоей не буду, козел! Ты мне не отец! Чтоб ты сдох! Не вернусь к тебе!" - и бегом по лестнице. Он за мной выскочил на площадку. Да куда без трусов побежишь-то. "Я умру без тебя, умру, вернись!" - такой ор стоял. К Тамаре пришла. У нее - друг. Пошла в подворотню стоять. Такой ливень. Гроза. Я грозы боюсь. Ты боишься? Я боюсь. Стою - ты идешь. Глаз на меня положил. Решил - клиента жду. А я стою - ну прямо вся не в себе. Идти некуда, жизнь кончилась. А ты - пьяный. На отца похож. И к себе идти предлагаешь. Такая меня злость взяла, просто словно с ума сошла. Ну, думаю, такой же козел! Пойду к нему. Убью топором, если будет... Как в романе... И буду жить в его квартире. Потом - пусть раскроется, но немножко поживу по-человечески. Вот куда только твой труп деть - не решила. Но вообще ты мне сразу безумно понравился.

Елизавета Михайленко

Осеннее сердце

Осень... Длинные, скучные дожди... Холод. Замирание всей жизни. Пожелтевшие листья, падающие с деревьев, как будто люди, отделившиеся от своих родных и уезжающие далеко, плывущие сами по себе. Я люблю осень. Её особое увядание, её особый блеск, шарм. Её дыхание. Особенное. Оно не теплое, как летом, но ещё и не холодное и промерзлое, как зимой. Люблю дождь. Почему? Наверное потому, что он заставляет меня задуматься. Задуматься над своей жизнью, своими целями, поступками. Просто подумать. Я люблю смотреть на дождь либо в городе, либо когда я на машине куда-то еду. По стеклам бьют капли, которые хотят ворваться в твою душу, в твой разум. Ветер пытается тебя остановить, даже оградить отчего-то. А ты сидишь дома и из окна смотришь на прохожих. Они все такие суетливые, спешащие, мрачные. Даже если они не одиноки. Даже если есть тот, кто их любит, кто их ждет. Они все загружены. Проблемами, неурядицами, а тут ещё и плохая погода...

Мне кажется, мы с тобой были не такие. Хотя да, по большей степени такие же, во все остальные времена года. Но только не осенью. Она была для нас чем-то особенным, почти волшебным. Как-то непонятно она входила в наши сердца и меняла их, делая чуточку светлее, добрее, прекраснее. Помнишь, как мы познакомились? Ты увидел девушку, стоящую на автобусной остановке под дождем и без зонтика. А ты знаешь, я ведь никогда не ношу зонт. Не люблю. А ты решил подойти и предложить мне с тобой встать под зонт. Не поверишь наверное, но я никогда бы не согласилась. Если бы предложил кто-нибудь другой. Но не ты. Странно, я просто посмотрела в твои глаза, и при всей этой холодной погоде, я увидела в них тепло, идущее от сердца... Передо мной стоял очень красивый молодой человек, в черном пальто (да, кстати, зонт у тебя тоже был черный), с аккуратно подстриженными волосами и сумкой с ноутбуком на плече. Такой черный, весь мрачный. Да, ещё одна деталь: шарф. Наверное он меня покорил. Оранжевый шарф. При всей твоей серьезной и строгой внешности – оранжевый шарф. Как будто ты обязан был носить всю эту скучную одежду просто «по статусу», а душа твоя была в этом шарфике, который при первом взгляде на тебя вызвал у меня улыбку. Добрую улыбку. Ощущение было, что улыбку ты эту почувствовал. Мы просто смотрели друг на друга. Не говоря ни слова. И вдруг подошел мой автобус. Я успела только поблагодарить тебя... Даже не узнала, как тебя зовут. Не поверишь, но я всю ночь не спала. Думала о тебе. На следующий день у меня был экзамен в университете. Пришла абсолютно не выспавшейся и не готовой. Но билет легкий попался. Сдала на отлично.

Погода на улице была просто прекрасная. Я вышла из университета и пошла на свою автобусную остановку. Надо было бы радоваться экзамену, но мои мысли были заняты другим. Тобой. И вдруг ко мне подходишь ты, опять улыбаешься, и абсолютно волшебным голосом говоришь: «Привет! Ты вчера так быстро убежала? Сегодня тебе зонт не нужен, но может быть, прогуляемся?» В эту минуту я была абсолютно счастлива... Мы пошли гулять по набережной. Через 4 часа я уже знала, что ты студент юридического факультета, родители у тебя – тоже «потомственные юристы», но не это было главное. Я поняла, что ты интересный, не скучный, как все остальные. Ты добрый, надежный, и иногда даже доверчивый. Хочешь сказать, что я влюбилась в тебя? Да, наверное, ты будешь прав... Абсолютно прав...

Мы с тобой гуляли каждый день. В парке, по набережной, да и просто по улице. В тот момент мне казалось, мы выделялись из толпы. И выделялись такие же, как мы. Никуда не торопящиеся, спокойные, одухотворенные друг другом. Через пару дней мы знали друг о друге все. Но каждый час ты открывался мне с новой стороны. Мы ходили в кино, в театр, пару раз даже в музей. Мои подруги начали меня укорять, что я им не звоню, забываю о них, в университете преподаватели стали делать замечание, что я отвлекаюсь на лекциях, мама вообще сказала, что я о чем-то «постороннем» думаю. Нет. Я думала о самом близком, о самом дорогом, о самом нужном – о тебе. И ты знаешь, та осень мне совсем не показалась скучной. Наоборот. Волшебной. Теплой. Светлой. Я познакомила тебя со своими родителями, а ты меня – со своими. Моей маме ты сразу понравился, отчасти потому что вы с ней были юристы, она хотела, чтобы я пошла по её стопам, а я «свернула с дистанции». Твоим родителям я тоже понравилась. Самое интересное, что с первой встречи до знакомства с родителями прошло катастрофически мало времени – всего около недели. Но мне казалось, что я знаю тебя вечность... И ещё вечность я готова идти по жизни с тобой... Ты умел быть искренним, добрым, честным. Дарил мне цветы. Белые розы. Странно, но мне никогда не было так хорошо ни с кем, кроме тебя. Ты стал для меня всем. Я полюбила тебя. И чувствовала такую же любовь, тепло и заботу, идущую от тебя. Я полюбила эту осень...

Прошло три года. Я уже заканчивала университет, так же как и ты. Нам пророчили большое будущее. Наступила осень. Поздняя осень. Опять с её дождями. Но теперь я никогда не мерзла. Рядом был ты. Ты согревал не только меня, но и мою душу. Даже через три года наших отношений я чувствовала то же, что и когда впервые тебя увидела. Однажды мы приехали домой после университета. На улице был страшный ливень. Мы сидели на кухне и пили горячий чай с печеньем. Мы ведь оба так любили смотреть на дождь из окна. Ты опять сидел в своем белом объемном свитере, который я очень любила. Он был такой же мягкий и пушистый, как ты. Вдруг я вспомнила, мы ведь за три года ни разу сильно не ссорились! Неожиданно ты сказал, что вечером встречаешься с друзьями. Я никогда не возражала. Так же как и ты. Я тебе доверяла, или нет, скорее, что я тебе верила. Ближе к вечеру ты собрался и сказал то, что меня насторожило: «Прощай!» Ты никогда мне не говорил прощай. Все, что угодно: «До свиданья», «Пока», «Я скоро»... Но только не прощай... Меня как будто током ударило. Ты почувствовал. Спросил: «Что с тобой?» «Ничего. Ты просто никогда так не говори» «Знаешь, а я сегодня очень плохо спал. Мне приснился сон. Как будто ты далеко. За стеклом. Я тянусь, я пытаюсь сломать, разбить стекло, я пытаюсь дотянуться до тебя. Но меня что-то держит, как будто сковывает. Я кричу, отталкиваюсь, но меня все равно не пускают. Удерживают. Знаешь, мне кажется, что именно во сне я почувствовал, как не хочу и как до боли боюсь тебя потерять... Ты нужна мне! Я никогда тебя не отдам! Никому! Я всегда буду с тобой рядом...» Мне на глаза навернулись слезы. Мои глаза умоляли «не уходи!». «Я обещал» - ответил ты – «Не плачь, пожалуйста, я скоро. Я люблю тебя». Когда дверь за тобой захлопнулась, мне показалось, что внутри меня что-то рухнуло... Я плакала несколько часов и не заметила, как уснула. Проснулась от резкого звонка в дверь. Открываю, а там твоя мама. По её заплаканным глазам я поняла – что-то случилось. С тобой. Вокруг меня все затемнело. Никогда, до конца своей жизни, не забуду слова твоей мамы, Ирины Николаевны: «Он попал под машину. Он в больнице. Надо ехать.»....

Правда говорят, что нет на свете ничего хуже, чем неизвестность... В больнице мы сидели, казалось, вечность. Внутри меня была пустота. Абсолютна пустота. И только где-то в глубине моей души горел огонёк надежды. Надежды на то, что ты будешь жить... За это я отдала бы всё. Даже свою жизнь... Почему я отпустила тебя? Ведь я чувствовала!!! Что-то должно случиться! Ещё этот твой сон... По моим щекам все это время текли слезы. Слёзы отчаяния... Я ведь ничем не могла помочь. Старалась успокоить твою маму... Безуспешно. Операция длилась уже несколько часов. И вот наконец-то вышел хирург. В фильмах показывают, что по выражению лица хирурга можно определить исход операции. Но не в нашем случае. Я просто подлетела к хирургу. Я смотрела в его глаза, пыталась понять, что с тобой... Он оказался немногословен: «У вашего молодого человека травма, несовместимая с жизнью. Мы сделали все, что могли, но он проживет не более суток... Может, даже меньше... Простите...» Мне кажется, я испытала то, что испытывают осужденные на смерть, когда им выносят приговор. У нас с тобой осталось 24 часа... Ирина Николаевна была просто в истерике... Я отвела её в сторону, сама не понимала, что говорила ей, но четко дала понять, что эти твои последние сутки должны были стать лучшими в твоей жизни...

Через пару часов меня запустили к тебе в палату. Когда я вошла, поняла, что за эти несколько часов ты постарел. Передо мной лежал совершенно другой человек. У меня опять потекли слёзы... Я кое-как смогла успокоиться и привести себя в порядок.

- Привет! – слабо улыбнувшись, сказал ты.

- Привет, - кроме этого, я ничего не смогла ответить, - Как ты себя чувствуешь?

- Можно было бы и лучше. **Не плачь, я прошу тебя.** Я слышал разговор врача. Я знаю, что мне осталось жить не более суток..., - и я впервые увидела на твоих глазах слёзы. Ты всегда говорил, что мужчины не плачут. Но здесь вряд ли кто-нибудь смог бы сдержаться. – Послушай меня. Я очень многое хочу тебе сказать. Даже слишком многое. Боюсь не успеть. Я очень тебя люблю. С той самой первой минуты, что увидел тебя. Я просто потерял голову. Эти три года я каждый день был счастлив с тобой. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Когда ты утром варила кофе, будила меня, когда мы опаздывали на лекции, когда вечерами гуляли по парку и собирали пожелтевшие листья, а потом по ночам готовились к экзаменам. Я всегда верил в тебя. Верил тебе. Я безумно счастлив. Я был безумно счастлив даже в нашей съемной квартирке. Я благодарен тебе за то, что ты меня любила все эти годы, ждала, верила... Я знаю, ты после университета хотела устроиться на хорошую работу, купить квартиру, и чтобы у нас была настоящая семья, дети... Ты хотела идти по жизни со мной. Прости, что я не смог оправдать твои надежды... Не смог исполнить свои обещания...

- Нет, не говори так, ты будешь жить!!! Ты должен жить! Ради своей мамы, ради меня, ради себя!!! Я не смогу без тебя! Ведь случаются же исключения??? Чудеса? – захлёбываясь от слёз, говорила я.

- Я умоляю тебя, не плачь. Я знаю, что не выживу... Я хочу запомнить тебя улыбающейся, как в нашу первую встречу. Я хочу запомнить тебя счастливой. Счастливой рядом со мной. Ведь бывает так: рок это или судьба... Одна машина оборвала мою жизнь... – твой голос начинал слабеть. По моему телу пробежала дрожь... - Но я не хочу, чтобы оборвалась твоя жизнь... Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты выйдешь замуж, у тебя будут прекрасные дети, может, кто-нибудь из них станет юристом, или сына своего

ты в честь меня Алёшей назовешь... Но только не замыкайся в себе... Ты остаёшься жить... И ты должна жить и радоваться жизни. Не хорони себя...

- Я не смогу никого больше полюбить... Я люблю только тебя!

- Сможешь. Ты забудешь меня. Ты должна забыть меня.

- Не говори так!

- Странно... Но я сейчас чувствую то же самое, что и во сне. Я не могу дотянуться до тебя... Я боюсь... Но я люблю тебя. Ты – свет, который я буду видеть даже во тьме. Ты – свет, который я почувствую, даже если ослепну. Есть такое стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне»:

С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них!
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг...

Вдруг на приборе что-то запищало... Ты перестал дышать... Я закричала: «Алеша!!!» Но ты меня уже не слышал... Забежали врачи, начали помогать уже мертвому твоему телу. В моей голове крутились эти последние твои слова...

Я не помню, что было со мной потом. Знаю только, что моя лучшая подруга переехала ко мне и жила со мной 2 месяца. Я была просто никакая. На твоих похоронах у меня случилась жуткая истерика. Я пыталась свести счёты с жизнью. Меня спасала только мысль об учебе, работе. Долгое время ходила к психологу. Разбирая твои документы на ноутбуке, обнаружила на рабочем столе это стихотворение, которое стало последними словами в твоей жизни... У твоего убийцы мы отсудили большую сумму денег. Но тебя было уже не вернуть... Это было бесполезно. Я бы пожелала ему лишиться самого важного в своей жизни, чего лишилась я и твоя мама...

С твоей смерти прошло уже три года. Я нашла хорошую работу. Я очень хорошо общаюсь с твоей мамой. Она ко мне как к дочери относится. Тоже хочет, чтобы я вышла замуж... Сегодня я пришла к тебе, чтобы сказать, что я тебя помню. Я не смогу полюбить кого-то ещё. Слишком сильная рана... Научилась водить машину. Получила права. По дороге с кладбища домой я решила свернуть в сторону того места, где тебя сбила машина. Я каждый месяц в день твоей гибели кладу на этом повороте цветы. Белые розы. Потом почему-то меня потянуло на «нашу остановку». Был такой же проливной дождь, как и тогда, в день, когда тебя не стало. На совершенно пустой остановке сидел маленький мальчик. Я подошла и спросила: «Как тебя зовут?». «Алёша» - последовал ответ. И в его глазах я увидела до боли знакомый свет. Твой свет... Спустя несколько месяцев мне удалось усыновить этого мальчика (как оказалось, он был детдомовский). Он удивительно на тебя похож...

Осень – странное время года... Она подарила мне тебя, потом жестоко забрала, а потом подарила надежду а то, что у меня тоже есть жизнь. И ты всегда будешь в ней. Во мне. В моей душе. В моей памяти. В моём сердце... Осеннем сердце...

Стефан Цанев

«Вторая смерть Жанны Д'Арк»

ЖАННА:(вырывается, вскакивает на нары, в исступлении кричит). Я не Жанна д'Арк, оставьте меня! Я не Жанна д'Арк! Я не Жанна д'Арк, пастушка из Домреми, названная потом Девой, Девой Жанной, Девой из Домреми, Орлеанской Девой или Девой Франции! Я не Жанна д'Арк, не дочь скромного, всеми уважаемого Жака д'Арк и набожной Изабель Роме!

Я не Жанна д'Арк, которая ходила ночью в полнолуние под Дерево фей, где впервые услышала голос, который произнес: «Жанна, Бог призывает тебя спасти Францию!» Я не Жанна д'Арк, которая откопала за алтарем аббатства Сент Картин де Фьербуа зарытый там меч Провидения! Я не Жанна д'Арк, которая скакала на коне, прямая, как свечка, во главе войска с развевающимся знаменем и мечом в руках! Я не Жанна д'Арк, поднявшая на борьбу с англичанами весь народ Франции! Та Жанна д'Арк пала с мечом в руках, сражаясь за освобождение Парижа, и давно лежит мертвая в канаве близ Компьена, засыпанная землей... Да, палач, ее зарыли тайно, потому что знали, что мертвая, геройски погибшая Жанна страшнее живой, потому что живая Жанна, ведет за собой народ пока жива, а мертвая будет вести всегда! Я не Жанна д'Арк! Я Жанетт, веселая Жанетт, примадонна бродячего театра «Сан Суси», осужденная на смерть за блуд! Я в отчаянье ждала здесь в камере дня, когда меня швырнут в костер... И тогда ко мне пришел твой человек, Господи, монах Ладвеню и сказал: «Если сыграешь на процессе Жанну д'Арк—мы пощадим тебя!» И он сочинил весь этот фарсовый процесс: слово за словом, реплика за репликой, сцена за сценой. Он написал мне героический текст, чтобы я стала похожей на настоящую Жанну д'Арк! Текст, который я произнесла, был изумительно красив — кому же не хочется играть героические роли, чтобы и тебя самое считали героем? Я увлеклась и от себя прибавила какие-то слова, усилила героическое звучание текста — и что же? Суд чуть не взбесился! «На костер ведьму! На костер!» Очень было красиво... А вчера брат Ладвеню сказал мне: «Ты хорошо справилась, до сих пор все было отлично, увидим, как пойдет дело в финале»... Вот он, финал. (Хватает с нар исписанные листы бумаги, размахивает ими.) Потрясающий, невероятно эффектный финал. Бесстрашная Дева Франции отрекается! Следуйте ее примеру! Жанна д'Арк отрекается от самой себя! Плюйте ей в лицо! Самозванка отрекается от всех своих слов и дел и молит о прощении! (Падает на колени перед Богом и Палачом.) Прощение! Прощение! Прощение! Я отрекаюсь от всех своих слов и дел! Голову вниз, Жанна! Пробил час твоего последнего подвига, голову вниз, ты должна жить! На колени!.. Ползи, ползи, ползи, ползи, Жанна! (Ползает у их ног.) Позвольте мне своими недостойными устами поцеловать ваши ноги! Позвольте мне своим скверным языком облизать ваши подметки! (Бросается целовать их ноги.)

Бог и Палач, ошеломленные, отступают.

(Кричит, умоляюще, отчаянно.) Прощение! Прощение! Прощение! (Внезапно умолкает, поднимает голову.) Вы этого хотели? Этого ждали от меня? Ну как? Нравится пьеска? (Встает, выпрямляется.) Нет, Господи. Я не имею права убить Жанну д'Арк. Я должна сыграть свою роль до конца... (Снимает со стены доспехи и шлем, надевает их, говорит тихо, но решительно.) Я Жанна д'Арк. Это я. Я Жанна д'Арк из Домреми, названная Девой, Девой Жанной, Орлеанской Девой или Девой Франции. Бог призвал

меня, чтобы я освободила мой порабощенный народ. Выше голову, Жанна! Пробил час твоего последнего подвига! Им нужна отрекшаяся от себя, опозоренная живая Жанна, потому что мертвые не отрекаются никогда... Умри, Жанна, тогда ты не сможешь отречься! Отречешься — тогда умрешь навсегда. Умри — чтобы вечно жила Жанна д'Арк! Палач! Зажигай костер! (Идет к железной двери. Останавливается. Поворачивается. Минутное колебание. С последней надеждой.) Зачем ты оставляешь меня, Господи?

Феликс Кривин

Если бы я был горностаем

Если бы я был горностаем, я расхаживал бы, как король, и все удивлялись бы, откуда у меня моя шуба, и все спрашивали бы: «Скажите, где Вы купили эту шубу, кто Вам ее подарил, кто Вам ее прислал, у Вас. Наверно, богатые родственники?».

А я бы ходил в горностаевой шубе, шубе из чистого горностая, потому что я сам был бы горностаем, и я отвечал бы: «Нет, я нигде не купил эту шубу, и никто мне ее не подарил, и никто не прислал, я хожу в горностаевой шубе, потому что, вы же видите, я сам горностай».

Но они бы мне, конечно, не верили, ведь горностая встретишь не каждый день, и они бы просили: «Ах, пожалуйста, дайте нам поносить эту шубу!».

А я бы отказывал, я бы всем категорически отказывал: и зайцу и суслику, и волку. И волку? Нет, пожалуй, волку я бы не смог отказать, волку очень трудно отказать, он наверняка снял бы с меня мою шубу.

Если бы я был волком, я бы снимал шубу с каждого горностая, и с куницы, и даже с зайца, хотя у зайца шуба очень плохого качества, она все время линяет и ее едва хватает на один сезон. Но я бы все равно снимал бы с него шубу, потому что ведь я был бы волком, а волк может себе это позволить, волк может себе позволить абсолютно все, кроме удовольствия залезть на дерево. Волки не лазят по деревьям, хотя, конечно, они бы не отказались, но где им, куда! По деревьям лазят обезьяны, а волки бегают по земле и им ни за что не залезть на дерево!

Если бы я был обезьяной, я бы никогда не спускался на землю, я бы прыгал по веткам и кричал, и визжал, и швырял бы сверху бананы, стараясь попасть кому-нибудь в голову, и другие обезьяны тоже визжали бы, и швырялись, и мы бы соревновались, кто громче завизжит и кто скорей попадет, и радовались бы, что никто не может достать нас на дереве. Разве что жирафа, потому что она сама, как дерево, потому что у нее шея такая длинная, что по ней можно лезть и лезть и все равно до конца не долезешь.

Если бы я был жирафой, я бы ни перед кем не склонял голову. Я бы смотрел на всех сверху вниз, такая б у меня была длинная шея, И мне ничего не стоило бы заглянуть через забор, и я видел бы, что там внутри, а там обязательно должно что-то быть внутри, потому что заборы существуют не зря - но, конечно, не для тех, у кого такая длинная шея. И никто до меня не мог бы дотянуться, потому что для этого нужно было бы прыгнуть очень высоко, а это не каждый сумеет.

Если бы я был леопардом, я бы, конечно, сумел. Я бы прыгнул этой жирафе на шею и в одну секунду откусил бы ей голову. А потом прыгнул бы на дерево и откусил бы головы

всем обезьянам, а заодно и волку, чтобы не отнимал чужих шуб, а заодно и горностаю, что не кичился своей шубой. Если бы я был леопардом, мне не был бы страшен никто - разумеется, кроме льва, потому что лев каждому страшен. Когда встречаешь льва, хочется стать маленьким и незаметным, хочется зарыться в землю, как крот.

Если бы я был кротом, я бы каждый день зарывался в землю. Я бы рылся там, под землей, и меня совсем бы не интересовало, что происходит здесь, на белом свете. И кто у кого отнял шубу, и кто кому откусил голову, все это было бы мне ни к чему, я бы рылся в земле, рылся да рылся - и только иногда высовывал голову, чтобы посмотреть, как там растет трава и как ее щиплют бараны. Бараны ходят по полю и щиплют траву, и греют спину на солнышке, и они могут ни о чем не думать, хотя, конечно, и они думают, иногда они так задумаются!..

Если б я был бараном!.. Но я ведь и есть баран.

Виктория Токарева

Самый счастливый день
(Рассказ акселератки)

* * *

Нам задали классное сочинение на тему: «Самый счастливый день в моей жизни».

Я раскрыла тетрадь и стала думать — какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс, а отправят в ПТУ. Марья Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы.

Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Её самый счастливый день был тот, когда её принимали в пионеры.

Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в Музее погранвойск, и мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала: «Да ладно, ничего…» Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, ноя ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. А может, я что-то путаю. Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно не интересно.

Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала: нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живёт, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома и семья не волновалась. Но самым счастливым днём это не назовёшь: ну отвели и отвели…

Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У неё выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У неё есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, как говорит Марья Ефремовна, — это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например: «Бетховен — плебей, но все, что он достиг в жизни, он достиг своим трудом…» И ещё я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи, играет Катя Шубина, класс педагога Россоловского». И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамаши, а рост — непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы.

Машка Гвоздева безусловно попадёт в интеллигенцию, потому что от её мозгов гораздо больше пользы, чем от её рук. А у меня ни рук, ни мозгов — один словарный запас. Это даже не литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалёк, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то…» и «Ну да, в общем-то, конечно…» И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, даёт возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то…», «Ну, в общем, конечно».

Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали: счастье — это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье — это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьёшься, — счастье кончается, потому что счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление.

Что я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дублёнку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы. Так что дублёнку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу.

А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом К.К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел как свинья, и просто диву даёшься, что время делает с людьми.

Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в К.К.

Просто он играет Д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто К.К. — это и есть сам Д'Артаньян — талантливый, неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк», «нормалёк» и ниже меня на два сантиметра.

Я смотрела «Мушкетёров» шесть раз. А Рита Погосян — десять раз. Её мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно, не то что мои родители — ничего достать не могут, живут на общих основаниях.

Однажды мы с Ритой дождались К.К. после спектакля, отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила: К.К. женат и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и, значит, часть души остаётся свободной для новой любви.

У нас с К.К., правда, большая разница в возрасте — двадцать лет. Через пять лет мне будет восемнадцать, а ему тридцать восемь. На пусть это будет его проблемой. А молодость ещё никогда и никому не мешала.

Рита сказала, что К.К. — карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов. И ничего. То есть, конечно, «чего», но ещё не такие дела делаются из-за карьеры.

Неизвестно — отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе.

Честно сказать, какое мне дело до Гондураса, а ему до меня, но Марья Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в девятый класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за Гондураса.

Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей самый счастливый день.

В передаче о счастье я запомнила такую фразу: «Перспектива бессонных ночей за штурвалом комбайна…» Может быть, комбайнёр тоже был карьерист.

Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без неё. Но все-таки это — не то.

Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздаётся оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает моё сердце. Я спрашиваю: «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает:

«Я нормально ставлю». И так каждый раз.

Когда её нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».

Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва — самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка-дилетант и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек прошёл по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию: ключи под ковриком. Открывай дверь и заходи. Еда на плите — разогревай и обедай. А хозяева явятся в шесть.

Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой, а около шести — уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дублёнку, отделанную аляскинским волком. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы — интеллигенция и живём только на то, что зарабатываем.

Мама говорит: когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, — меня обязательно спрашивают.

Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и ни к кому не приспосабливаться. Я вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе. И стоя. Холодное — гораздо вкуснее. Горячее — отбивает вкус.

Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать. Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается: «Не о-би-жайся на меня, не обижаа-а-йся, и не жалей, и не зови, не достучишься до любви». А в окно хлещет солнце.

Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги: рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили её подхалимы.

У Вампилова мне очень нравится: «Папа, к нам пришёл гость и ещё один». А папа отвечает: «Васенька, гость и ещё один — это два гостя…» Я читаю и вижу перед глазами К.К., и мне бывает грустно, что все-таки он женат и у нас большая разница в возрасте.

А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить — невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы: «А зачем люди живут?» Она говорит: «Для страданий. Страдания — это норма». А папа говорит: «Это норма для дураков. Человек создан для счастья». Мама говорит: «Ты забыл добавить — как птица для полёта. И ещё можешь сказать — жалость унижает человека». Папа говорит: "Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры.

Умные рассчитывают на себя". А мама говорит, что жалость — это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен не многим, даже умным.

Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома — мамы нет. И наоборот. Если мамы нет — папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. (У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея»). Посмотрев «фокею», прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить: «Не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Но я молчу и только моргаю.

Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дублёнки нет на вешалке, ужасно радуется. Быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начинаем танцевать на ковре посреди комнаты, вскидывая ноги, как ненормальные, обе в пижамах и босиком. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек. Мы ликуем, но шёпотом, сильно разевая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно.

А когда у мамы библиотечные дни и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера, — вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду.

Она говорит:

— По-моему, он от нас ушёл.

Я говорю:

— А как же кожаный пиджак и джинсы? Без них он не уйдёт.

— Но он может прийти за ними позже.

— Глупости, — говорю я. — От меня он никуда не денется.

Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так: «Три — это удовлетворительно. Значит, государство удовлетворено».

— Я с ним разведусь, — говорит мама.

— Причина?

— Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги. Сама стою в очередях и сама таскаю кошёлки.

— А раньше было по-другому?

— Нет. Так было всегда.

— Тогда почему ты не развелась с ним раньше, десять лет назад?

— Я хотела обеспечить тебе детство.

— Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны.

— Ну и пусть.

— Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться.

— У тебя впереди вся жизнь. А мне тоже хочется счастья.

Я не понимаю, как можно в тридцать пять лет, имея ребёнка, хотеть какого-то ещё счастья для себя. Но сказать так — не тактично. И я говорю:

— А где ты видела счастливых на вое сто процентов? Вон тётя Нина моложе тебя на пять лет, худее на десять килограмм, однако без мужа живёт и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта, полтора часа в один конец. И занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты — работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают.

Занимаешь своё место в жизни. Вот уже пятьдесят процентов. Я — удачный ребёнок. Здоровый и развитый. Ещё сорок пять. Ничем не болеешь — один процент. Вот тебе уже девяносто шесть процентов счастья, остаётся четыре процента… Но где ты видела счастливых на сто процентов?

Назови хоть кого-нибудь.

Мама молчит, раздумывает — кого назвать. И в самом деле — никто не счастлив на все сто процентов. «В каждой избушке свои погремушки». Или как я где-то вычитала: «У каждого в шкафу свой труп». Но маму не утешает чужое недосчастье. Она хочет свои недостающие четыре процента вместо первых пятидесяти. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю:

— Ложись со мной. Я тебя присплю.

Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у неё холодные, и она суёт их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю.

На мой глаз капает её слеза. Я опять терплю. Я её очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что, если начать её жалеть, она раскиснет ещё больше. И я говорю:

— Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас.

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно.

Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.

Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается. И так же на цыпочках идёт в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашёл. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется — он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать, куда себя девать.

Заслышав папины шаги, мама успокаивается, и засыпает на моем плече, и дышит мне в щеку. Я обнимаю её и держу как драгоценность. Я лежу и думаю: хоть бы она скорее

растолстела, что ли… Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели, тогда — кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу. И мне.

А сейчас они носятся колбасой, худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой?

Между прочим, у Ленкиной мамаши вообще нет мужа, трое детей — все от разных отцов, слепая бабка, две кошки и щенок. Однако у них в доме — шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остаётся свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься.

Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг со мной чтонибудь случится, попаду под машину или вырасту и выйду замуж? На кого я их оставлю? И что они будут делать без меня?..

Загоруйко подошёл к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда «битлсы» снова объединятся в ансамбль. Загоруйко знает все современные зарубежные ансамбли:

«Кисеи», «Квины», «Бони М». А я только знаю: «Бетховен плебей…», серенаду Шумана по нотам и кое-что по слуху.

Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут.

Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс, и я буду токарь-наладчик или буду швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом.

Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребёнка и написать книгу о времени, в котором он жил.

Я вспоминала, как тащила полное ведро чернозёма, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошёл Загоруйко и предложил:

— Давай помогу.

— Обойдусь, — отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони.

На ладонях был след от дужки ведра — глубокий и синий.

Плечи ныли, и даже ныли кишки в животе.

— Устала, — сообщила я окружающим с трагическим достоинством.

— Так и знал! — ехидно обрадовался Загоруйко. — Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет.

Противный этот Загоруйко. Что думает, то и говорит, хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны.

Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколениям. И, значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятёрку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врождённая грамотность.

Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке.

И пусть Марья Ефремовна ставит мне что хочет. Все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится. Буду жить на общих основаниях.

Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с Дефюнесом в главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались, и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. (хотя мама утверждает, что бабушкина рыба — несолёная и пахнет аммиаком, будто её вымачивали в моче). Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы — бабушкины — карие, бровки домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка — корни, папа — ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу.

И это было невыразимо прекрасно.

Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня ещё не было. Он у меня — впереди.

Толстой Лев

"Воскресение"
(отрывок)

Люди, большею частью добрые и кроткие, сделались злыми. Только потому что служат. Может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства - любви и жалости друг к другу.

Все дело в том, что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми. Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны. Страшнее разбойников. Разбойник все-таки может пожалеть - эти же не могут пожалеть: они застрахованы от жалости. Вот этим-то они ужасны.

Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени,- христиане, гуманные, просто добрые люди, - совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть; надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими; то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел.

Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви, так же как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой.

Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям - занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, и нет пределов страдания для себя.

Стефан Цвейг

Письмо незнакомки (отрывок)

С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка, такой непритязательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и – пусть бессознательно - домогающаяся взаимности любовь взрослой женщины.

Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство подругам, притупляют его признаниями, - они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки своей первой выкуренной папиросой. Но я - у меня не было никого, кому бы я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, я была неопытна и наивна; я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне бродило, все, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грез; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека, легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью, - и все то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все свои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня - как объяснить тебе? Любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко, - ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе, все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх - ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел!

Феликс Кривин

Волшебная сказка

Жил на свете волшебник. Он мог превращать песок в сахар, а простую воду в молоко, но не делал этого, потому что считал, что чудес не бывает.

Пошел он однажды на край света. Пришел, свесил ноги через край и вдруг почувствовал - рядом кто-то стоит. Скосил волшебник глаза и увидел петуха, который пристроился на самом краю и преспокойно клевал звезды.

- Остановись! - воскликнул волшебник. - Ты нас оставишь без звезд!

- Извините, - смутился петух. - Но при этом согласитесь; здесь же больше нечего клевать.

Они разговорились. Оказывается, петух вовсе был не петух, он был человек, и у него была жена, очень красивая женщина. Он так ее любил, что друзья стали над ним посмеиваться. И один из них, колдун по образованию, превратил его в петуха. И теперь ему нравятся все курицы, вот поэтому он сбежал на край света.

- Если б меня кто-нибудь расколдовал, - вздохнул петух. - Я мог бы вернуться к своей жене и опять жить по-человечески...

Волшебник тоже вздохнул:

- К сожалению, чудес не бывает.

Они шли по краю света, как по берегу большой реки. То и дело петух толкал в бок волшебника:

- Посмотрите, какая хорошенькая курочка! - и тут же начинал себя стыдить: - Ах, какой я все-таки... Бессовестный, непутевый...

Поздно вечером набрели на берлогу медведя.

- Заходите, - пригласил медведь. - Хотя угощать особенно нечем. На краю света с продуктами - сами понимаете...

- А как ты попал на край света?

- Дело в том, что я не медведь, а петух. Я пел и зарабатывал довольно неплохо. Это так чудесно - быть петухом, - вздохнул медведь и посмотрел на петуха, ища сочувствия. - Если б не этот мед... видеть его не могу! Мало мне было зерна, захотелось попробовать меду...

Медведь замолчал. Ему было совестно рассказывать, что произошло дальше.

Но раз начал - надо досказать.

- Осторожно, чтоб не разбудить пчел, полез я в улей за медом, И только стал пробовать, вдруг почувствовал, что со мной что-то происходит.

Медведь отвернулся и стал сморкаться в тряпочку.

- Можете себе представить, - продолжал он, - перья мои и крылья куда-то исчезли, а вместо них появилась шерсть и вот эти лапы. И самое главное, я потерял голос. Вот послушайте.

Медведь заревел так, что задрожала земля.

- Голос как будто есть, - робко заметил волшебник.

- Э, разве это голос! Вот теперь сижу и думаю: как бы мне вернуться в петухи.

Волшебник покачал головой:

- Вряд ли это получится. Ведь чудес не бывает.

- Привет честной компании, - послышалось сверху, и в берлогу заглянул человек.

- Ты кто? - испугался медведь. - Часом не охотник?

- Да нет, какой из меня охотник? Я и не человек вовсе. Медведем родился, медведем и состарился. Да вот на старости лет захотелось стать человеком. Человеку, думал, легче, человеку и пенсию дают. Только вижу теперь - ох, нелегкое это дело - быть человеком! Вот и хожу, ищу - кто бы меня в медведя переколдовал.

Волшебник руками развел: - Чудес не бывает. Сидят они в медвежьей берлоге, и такое у всех настроение...

- Эх, кабы мне стать человеком! - сокрушается петух.

- Кабы мне стать петухом! - мечтает медведь.

- Кабы мне стать медведем! - вздыхает человек.

Надоело это волшебнику, и махнул он рукой:

- А, да будьте вы все, кто кем хочет!

И тут же стали все, кем кто хотел. Потому что пожелал этого не кто-нибудь, а волшебник. Петух стал человеком. Медведь - петухом.

Человек - медведем.

Посмотрел волшебник - сидят в берлоге петух, медведь и человек – и вздохнул:

- Я же говорил, что чудес не бывает!

Феликс Кривин

Кошка в зоопарке

Кошка жила в зоопарке, но не в клетке, а между клетками. Это было обидно, потому что в клетке кормят, а между клетками нет. Что сам ухватишь, тем и бываешь сыт. Но зато живешь на свободе.

Таков закон жизни: либо сытая, либо свободная жизнь. Этот закон никому не нравится, потому что в любом случае чего-то не хватает.

Кошке не нравилось, что сама она на свободе, а еда от нее отделена клетками. И она бегала между клетками и кричала: "Долой клетки!" – наполняя атмосферу вольнолюбивыми мотивами. И когда вольнолюбивые мотивы дошли до администрации, клетки убрали и зоопарк переоборудовали в заповедник, где все по природе, все на свободе...

И сразу все завопили: "Давайте жрать!"

Громче всех вопила кошка. Раньше еду можно было стащить из клетки, хотя это и было сопряжено с определенными трудностями. А теперь что получилось? Ни клеток, ни еды? А преступность? Когда у нас была такая преступность? Вы посмотрите, кого повыпускали из клеток! Это же преступники! Они же заживо друг друга едят!

Кошка забилась на самую верхушку дерева и с ужасом смотрела, как свободные граждане поедают друг друга. В свободолюбивых мотивах ничего об этом не было сказано.

И кошка завопила сверху: "Свободу клеткам!" Но спуститься с дерева не решалась из страха перед растущей преступностью. Так и осталась на дереве. Научилась орешки грызть. Белки принимали ее за свою и вместе с ней кричали:

"Свободу клеткам!"

Светлана Алексиевич

"Цинковые мальчики"

"Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два килограмма, рос маленький. Обниму:

- Мое ты солнышко.

Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему новое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают... Он их собирает:

- Мамочка, ты не бойся. Они добрые. - И назад в карман запихивает.

- Мое ты солнышко.

Игрушки любил военные. Дар ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.

- Я солдат... Я солдат.

- Мое ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.

- Я - солдат... Я - солдат...

Идти в первый класс. не можем нигде купить костюм, какой ни купи - он в нем тонет.

- Мое ты солнышко.

Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький.

Рассказывал, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: "Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю..."

Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана: "Ты, мама, не плачь, наша броня надежная".

- Мое ты солнышко... Наша броня надежная...

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку... Сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть... Поглядеть на сыночка, дотронуться... Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит? Первым пришел капитан из военкомата:

- Крепитесь, мать...

- Где мой сын?

- Здесь, в Минске. Сейчас привезут.

Я осела на пол:

- Мое ты солнышко!!! - Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:

- Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный... А он маленький... Ты - мужчина, а он - мальчик... Почему ты живой?!

Привезли гроб, я стучалась в гроб:

- Мое ты солнышко! Мое ты солнышко...

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:

- Мое ты солнышко!.."

Цветаева Марина

Монолог Сонечки из «Повести о Сонечке»

Как я люблю любить...

А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я - никогда. Это как зубная боль, только наоборот - наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет.

Какие они дикие дураки. Те, кто не любят сами не любят, будто дело в том, чтоб тебя любили. Я не говорю, конечно, но встаёшь как в стену. Но Вы знаете, нет такой стены, которой бы я не пробила.

А Вы замечаете, как все они, даже самые целующие, даже самые, как будто любящие, так боятся сказать это слово? Как они его никогда не говорят? Мне один объяснял, что это грубо отстало, что зачем слова, когда есть дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему: "Нет. Дело ещё ничего не доказывает. А слово-всё!"

Мне ведь только этого от человека и нужно. "Люблю" и больше ничего. Пусть потом как угодно не любит, что угодно делает, я делам не поверю. Потому что слово было. Я только этим словом и кормилась. Оттого так и отощала.

А какие они скупые, расчётливые, опасливые. Мне всегда хочется сказать: "Ты только скажи. Я проверять не буду". Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. "Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти". А они и вторым не говорят, никоторым. Будто со мной можно не первым уйти. Я в жизни никогда не уходила первой. И сколько в жизни мне ещё Бог отпустит, первой не уйду. Я просто не могу. Я все делаю чтоб другой ушёл. Потому что мне первой уйти - легче перейти через собственный труп.

Какое страшное слово. Совсем мёртвое. Поняла. Это тот мёртвый, которого никто никогда не любил. Но вы знаете, для меня и такого мёртвого нет.

Я и внутри себя никогда не уходила первой. Никогда первой не переставала любить. Всегда до самой последней возможности. До самой последней капельки. Как когда в детстве пьёшь и уж жарко от пустого стакана, а ты все тянешь, тянешь, тянешь. И только собственный пар.

Вы будете смеяться, я расскажу вам одну короткую историю, в одном турне. Неважно кто, совсем молодой, и я безумно в него влюбилась. Он все вечера садился в первый ряд, и бедно одетый, не по деньгам садился. А по глазам. На третий вечер так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам вскочит на сцену.Говорю, двигаюсь, а сама всё кошусь "Ну что? Ещё сидит". Только это нужно понять, это не был обычный мужской влюблённый, едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд. Он глядел как заворожённый. Точно я его каждым словом, как на нитке, как на нитке, как на канате притягивала. Это чувство должны знать русалки. А ещё скрипачи, вернее смычки и реки, и пожары. Что вот, вот вскочит в меня как в костёр. Я просто не знаю как доиграла. У меня всё время было такое чувство что в него, в эти глаза, оступлюсь. И когда я с ним за кулисами, за этими несчастными кулисами, поцеловалась, знаю что это ужасная пошлость, у меня не было ни одного чувства. Кроме одного. "Спасена". Это длилось страшно коротко, говорить нам было не о чем.Вначале я все говорила, говорила, говорила, а потом замолчала, потому что нельзя чтобы в ответ на мои слова только глаза, поцелуи.

И вот лежу я утром, до утром. Ещё сплю, уже не сплю. И все время себе что-то повторяю. Губами, словами. Вслушалась, и знаете что это было? "Ещё понравься. Ещё чуточку, минуточку понравься". Только вы не думайте, я не его, спящего, просила. Мы жили в разных местах и вообще... Я воздух просила. Может быть Бога просила. Ещё немножко вытянуть. Вытянула. Он не смог, я смогла. И никогда не узнал. И строгий отец, генерал в Москве, который не знает, что я играю. Я как будто бы у подруги, а то вдруг вслед поедет..

И никогда не забуду, вот это не наврала. Потому что любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда. Все равно, что разбить сервис и злиться, что не железный.

Виктория Токарева

Центровка (отрывок)

По причине, о которой мне не хотелось бы распространяться, я решила покончить с собой.

Только не пугайтесь и не удивляйтесь. Уверяю вас, не я первая, не я последняя. И так я стала выбирать наиболее комфортный способ. Отравиться - это долго, мучительно и, учитывая состояние современной медицины, — не наверняка. Спасут, а потом напишут письмо на производство. Оказывается, жизнь каждого члена общества принадлежит обществу и я не имею права покушаться на общественную собственность. Так что травиться — не подходит. Стреляться — нереально. Пистолеты полностью вышли из обихода. Это не девятнадцатый век, когда пистолеты имелись у каждого уважающего себя человека, как сейчас зажигалка или шариковая ручка.

Что остается? Вешаться — неэстетично. Бросаться из окна — страшно. А мне бы хотелось, чтобы смерть явилась незаметно, нежно взяла меня за руку и увлекла за собой, как в счастье. Я задала себе вопрос: «Что я больше всего люблю?»

Больше всего я люблю радоваться. Но от радости еще никто не умирал.

А еще я люблю спать. Стало быть, я должна умереть во сне.

Можно принять снотворное, но снотворное продают только по упаковке, значит, его надо собирать в течение недели. А за неделю можно передумать или переориентироваться. Причина, о которой я не хочу распространяться, не исчезнет, но может измениться мое к ней отношение.

Есть и другой способ заснуть: это замерзнуть. Как ямщик в той степи глухой. Очевидцы говорят, что вначале бывает холодно, потом тепло, потом тебя посещают блаженные сны.

Вы только не подумайте, что я шучу или разыгрываю. Мне ничуть не весело, хотя, если честно сказать, то и не грустно. Мне себя не жаль.

Я пошла в ванную, стала под душ, облилась водой. Потом накинула сверху махровую простыню и вышла на балкон. На тридцатиградусный мороз.

Мои волосы в мгновение сделались стеклянные, как трубки, ресницы стали белые, длинные и пушистые. Луна в черном небе висела надо мной непропеченным блином. Я уйду, а она останется. Другие будут глядеть на нее с земли, а она так же им будет врать своей многозначительностью. Город мерцал огнями окон. За каждым окном по идиоту — или по нескольку идиотов сразу…

Иван Алексеевич Бунин

Митина любовь

Митя лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, — привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, — опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, — это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал; бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

Вениамин Каверин

"Два капитана" (отрывок)

Я замечала, что прежде, когда я видела Саню после очень долгой разлуки, какое — то странное чувство разочарования вдруг охватывало меня. Как будто уже не могло быть ничего лучше того, что я испытала, тысячи раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с Севера и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что — то необыкновенное, какая — то перемена во всем – и на земле, и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании.

И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства: другие люди, так же как я, пришли, чтобы встретить кого — то, носильщики бежали к поезду, некрасивый кондуктор с седыми грязными усами за что — то грубо ругал проводника.

Но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча…

Поезд показался – и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все — таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Кажется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно – поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек и удивительно медленно идут ко мне навстречу – идут и идут, а Сани все нет, и опять идут, и у меня сердце начинает куда — то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал.

– Катя!

Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, бегу и чувствую, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья.

Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые минуты. Саня что — то быстро спрашивал, и я отвечала, не слыша. Потом я сказала о Саше, и мы снова остановились – на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали очень толкать, – и долго говорили о Саше.

– А Петька? Он, наверно, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох! Как я давно их не видел!

Мы поехали в «Асторию» , потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете, сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки.

– Что?

– Маковки.

– Пошел покупать маковки, – с недоумением сказала я и повесила трубку.

Саня так и покатился со смеху.

– Это он вспомнил, что Саша любит маковки, – объяснил он. – Она всегда любила маковки. Ох! Милый! А «бес — дурак» он еще говорит? Он говорил «бес — дурак» и «смешно» . Что ты смотришь?

Я смотрела, потому что он мне очень нравился, просто ужасно. Мы снова не виделись целый год, но странно, у меня было такое чувство, что мы в тысячу раз ближе, чем когда расставались. Мне почему — то показалось, что он стал выше ростом за этот

год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линии подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упрямый хохол, хотя приглаженный и тоже какой — то постарше.

– Я забыл, какая ты красивая, – сказал он – Очень странно, но там мне это было почему — то неважно.

– А здесь?

Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете.

На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня стоит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали: «Эй! Ну как, старик, а? » И ругали друг друга «бес — дурак» . Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками, что не достал. В конце концов, они сговорились: Саня заедет в клинику, и они вместе попробуют пробиться к Саше.

– А я?

Он снова обнял меня.

– Куда же я теперь без тебя? – сказал он. – Теперь, брат, кончено. Баста, баста!

И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала:

– Ты любишь меня?

– Да, да.

Виктор Розов

«Дикая утка»
из цикла «Прикосновение к войне»

Кормили плохо, вечно хотелось есть. Иногда пищу давали раз в сутки, и то вечером. Ах, как хотелось есть! И вот в один из таких дней, когда уже приближались сумерки, а во рту не было ещё ни крошки, мы, человек восемь бойцов, сидели на высоком травянистом берегу тихонькой речушки и чуть не скулили. Вдруг видим, без гимнастёрки. Что-то держа в руках. К нам бежит ещё один наш товарищ. Подбежал. Лицо сияющее. Свёрток – это его гимнастёрка, а в неё что-то завёрнуто.

- Смотрите! – победно восклицает Борис. Разворачивает гимнастёрку, и в ней … живая дикая утка.

- Вижу: сидит, притаилась за кустиком. Я рубаху снял и – хоп! Есть еда! Зажарим.

Утка была некрепкая, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она смотрела на нас изумлёнными бусинками глаз. Она просто не могла понять, что это за странные милые существа её окружают и смотрят на неё с таким восхищением. Она не вырывалась, не крякала, не вытягивала натужно шею, чтобы выскользнуть из державших её рук. Нет, она грациозно и с любопытством озиралась. Красавица уточка! А мы – грубые, нечисто выбритые, голодные. Все залюбовались красавицей. И произошло чудо, как в доброй сказке. Как-то просто произнёс:

- Отпустим!

Было брошено несколько логических реплик, вроде: «Что толку, нас восемь человек, а она такая маленькая», «Ещё возиться!», «Боря, неси её обратно». И, уже ничем не покрывая, Борис бережно понёс утку обратно. Вернувшись, сказал:

- Я её в воду пустил. Нырнула. А где вынырнула, не видел. Ждал-ждал, чтоб посмотреть, но не увидел. Уже темнеет.

Когда меня заматывает жизнь, когда начинаешь клясть всех и всё, теряешь веру в людей и тебе хочется крикнуть, как я однажды услыхал вопль одного очень известного человека: «Я не хочу быть с людьми, хочу с собаками!» - вот в эти минуты неверия и отчаяния я вспоминаю дикую утку и думаю: нет-нет, в людей можно верить. Это всё пройдёт, всё будет хорошо.

Мне могут сказать; «Ну да, это были вы, интеллигенты, артисты, о вас всего можно ожидать». Нет, на войне всё перемешалось и превратилось в одно целое – единое и невидимое. Во всяком случае, та, где я служил. Были в нашей группе два вора, только что выпущенные из тюрьмы. Один с гордостью рассказывал, как ему удалось украсть подъёмный кран. Видимо, был талантлив. Но и он сказал: «Отпустить!»

Александр Грин

Алые паруса (отрывок)

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, — глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там — на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже, встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но считая его не более, как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом, — своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. — «Чья это штука? Чья шутка? — стремительно вскричала она. — Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так, — случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, — Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

Татьяна Петросян

Записка

Записка имела самый безобидный вид.

В ней по всем джентльменским законам должна была обнаружиться чернильная рожа и дружеское пояснение: "Сидоров - козёл".

Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание... и остолбенел.

Внутри крупным красивым почерком было написано: "Сидоров, я тебя люблю!".

В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал?

Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно.

(Как они обычно ухмылялись. Но на сей раз - нет.)

Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая глядит Воробьёва. Не просто так глядит, а со значением!

Сомнений не было: записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит?!

И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТ??? Какие последствия это повлечёт и как теперь Сидорову быть?..

"Будем рассуждать логически,- рассуждал Сидоров логически.- Что, к примеру, люблю я? Груши! Люблю - значит, всегда хочу съесть..."

В этот момент Воробьёва снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза её давно не стриженные... ну да, настоящие когти! Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно догрызала костлявую куриную ногу...

"Нужно взять себя в руки, - взял себя в руки Сидоров. (Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи.) - Я люблю не только груши, но и родителей. Однако не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки. Папа часто носит меня на шее. А я их за это люблю..."

Тут Воробьёва снова обернулась, и Сидоров с тоской подумал, что придётся ему теперь день-деньской печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьёва - не худенькая и носить её будет, пожалуй, нелегко.

"Ещё не всё потеряно,- не сдавался Сидоров.-Я также люблю нашу собаку Бобика. Особенно когда дрессирую его или вывожу гулять..." Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьёва может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево...

"...Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо...- в отчаянии соображал Сидоров,- нет, это не то... мух люблю ловить и сажать в стакан... но это уж слишком... люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри..."

От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова: "Воробьёва, я тебя тоже люблю". Пусть ей станет страшно.

Чингиз Айтматов

«И дольше века длится день» (отрывок)

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращённого в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасётся, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на её приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

- Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! - Она бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. - Я твоя мать!

И сразу всё поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и всё плакала и плакала, оглушённая горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая её. И, плача, всматривалась сквозь слёзы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и всё пыталась поймать его взгляд, всё ещё ожидая, надеясь, что он узнает её, ведь это же так просто - узнать собственную мать!

Но её появление не произвело на него никакого действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча её руку и пошёл, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чём не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на неё из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его измождённому, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешёнными.

- Садись, поговорим, - с тяжёлым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

- Ты узнаёшь меня? - спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

- А как тебя звать?

- Манкурт, - ответил он.

- Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя своё помнишь? Вспомни своё настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог её преодолеть.

- А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

- Что они сделали с тобой! - прошептала мать, и опять губы её запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

- МОЖНО ОТНЯТЬ ЗЕМЛЮ, МОЖНО ОТНЯТЬ БОГАТСТВО, МОЖНО ОТНЯТЬ И ЖИЗНЬ, ПРОГОВОРИЛА ОНА ВСЛУХ, - НО КТО ПРИДУМАЛ, КТО СМЕЕТ ПОКУШАТЬСЯ НА ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА?! О ГОСПОДИ, ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ, КАК ВНУШИЛ ТЫ ТАКОЕ ЛЮДЯМ? РАЗВЕ МАЛО ЗЛА НА ЗЕМЛЕ И БЕЗ ЭТОГО?

И тогда вырвались из души её причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков…

Но ничто не трогало сына её, манкурта.

В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

- Кто это? - спросила Найман-Ана.

- Он везёт мне еду, - ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел её. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

- Ты ничего не говори. Я скоро приеду, - сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было всё равно.

Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий её семье. Но что могла она, невооружённая женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? НО ДУМАЛОСЬ ЕЙ О ТОМ, КАКАЯ ЖИЗНЬ, КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРИВЕЛИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ К ТАКОЙ ЖЕСТОКОСТИ, ДИКОСТИ - ВЫТРАВИТЬ ПАМЯТЬ РАБА…

Порыскав взад-вперёд, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево ещё долго держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернётся к нему рассудок, вспомнит вдруг детство…

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

- Она говорила, что она моя мать.

- Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! - запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его чёрное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.

- Да ты не бойся! На-ка, держи! - Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

- А ну целься! - Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. - Смотри! - удивился владелец шляпы. - В руке память осталась!

Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть

- не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники пленённых джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчуждённого соседства…

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и всё обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

- Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? - стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

- Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын её, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

- Жоламан! Сын мой! - звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. - Не стреляй! - успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы её белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: "Вспомни, чей ты? Как твоё имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!"

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: "Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твоё имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!.."

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит - Материнским упокоем…

Марина Дружинина

Лекарство от контрольной

Классный выдался денёк! Уроки закончились рано, погода отличная. Мы ка-а-ак выскочили из школы! Ка-а-ак начали кидаться снежками, прыгать по сугробам и хохотать! Всю жизнь бы так веселился!

Вдруг Владик Гусев спохватился:

— Братцы! Завтра же контроша по математике! Готовиться нужно! — и, отряхиваясь от снега, поспешил к дому.

— Подумаешь, контроша! — Вовка швырнул снежок вслед Владику и развалился на снегу. — Я предлагаю её пр-ропустить!

— Как это? — не понял я.

— А вот так! — Вовка запихнул в рот снег и широким жестом обвёл сугробы. — Вон сколько тут антиконтролина! Препарат сертифицирован! Лёгкая простуда на время контрольной гарантирована! Завтра поболеем — в школу не пойдём! Здорово?

— Здорово! — одобрил я и тоже принял противоконтрольного лекарства.

Потом мы ещё попрыгали по сугробам, слепили снеговика в виде нашего завуча Михаила Яковлевича, съели по дополнительной порции антиконтролинчика — для верности — и отправились по домам.

Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека стала раза в три толще другой, и при этом ужасно болел зуб. Ничего себе лёгкая простуда на один день!

— Ой, какой флюс! — всплеснула руками бабушка, увидев меня. — Немедленно к врачу! Школа отменяется! Я позвоню учительнице.

В общем, противоконтрольное средство сработало безотказно. Это, конечно, меня порадовало. Но не совсем так, как хотелось бы. У кого хоть когда-нибудь болели зубы, кто попадал в руки к зубным врачам, тот меня поймёт. А доктор к тому же «утешил» напоследок:

— Зуб поболит ещё пару дней. Так что терпи и не забывай полоскать.

Вечером звоню Вовке:

— Как дела?

В трубке раздалось какое-то шипение. Я с трудом разобрал, что это Вовка отвечает:

— У меня голос пропал.

Разговора не получилось.

На следующий день, в субботу, зуб, как и было обещано, продолжал ныть. Каждый час бабушка давала мне лекарство, и я старательно полоскал рот. Болеть ещё и в воскресенье никак не входило в мои планы: мы с мамой собирались идти в цирк.

В воскресенье я вскочил чуть свет, чтоб не опоздать, но мама тут же испортила мне настроение:

— Никакого цирка! Сиди дома и полощи, чтоб к понедельнику выздороветь. Не пропускать же опять занятия — конец четверти!

Я — скорей к телефону, Вовке звонить:

— Твой антиконтролин, оказывается, ещё и антицирколин! Цирк из-за него отменился! Предупреждать надо!

— Он ещё и антикинол! — сипло подхватил Вовка. — Из-за него меня в кино не пустили! Кто же знал, что будет столько побочных действий!

— Думать надо! — возмутился я.

— Сам дурак! — отрезал он!

Короче говоря, мы совсем разругались и отправились полоскать: я — зуб, Вовка — горло.

В понедельник подхожу к школе и вижу: Вовка! Тоже, значит, подлечился.

— Как жизнь? — спрашиваю.

— Отлично! — хлопнул меня по плечу Вовка. — Главное, контрошу-то проболели!

Мы расхохотались и пошли в класс. Первый урок — математика.

— Ручкин и Семечкин! Выздоровели! — обрадовалась Алевтина Васильевна. — Очень хорошо! Скорее садитесь и доставайте чистые листочки. Сейчас будете писать контрольную работу, которую пропустили в пятницу. А мы пока займёмся проверкой домашнего задания.

Вот так номер! Антиконтролин оказался форменным обдурином!

Или, может, дело не в нём?

И.С. Тургенев

«Милостыня»

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову — и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты всё свое богатство роздал, — послышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею, — ответил со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Михаил Булгаков

Неделя просвещения

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего…

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно… Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба…

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие… рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут… Мило, хорошо… Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать… Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны… Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард[Б. А. Ломбард (1878–1960), известный тромбонист], который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тозке пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крякает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться…

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет![Скорее всего, Булгаков имеет в виду Вторую венгерскую рапсодию Ф. Листа, которую писатель любил и часто исполнял на фортепьяно.]

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия…

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки!

И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

Анатолий Алексин

Раздел имущества

Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».

Я написала про бабушку.

А потом пошла с Федькой в кино… Было воскресенье, и у кассы, прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким напряженным, будто Федька изготовился прыгать с вышки вниз, в воду. Увидев хвост возле кассы, он прищурился, что предвещало готовность к действиям чрезвычайным. «Я тебя по любому следу найду», – говорил он, когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.

Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо сразу присваивало ему некий порядковый номер, и, безусловно, не первый.

Федька рванулся к кассе. Но я остановила его:

– Пойдем лучше в парк. Такая погода!..

– Ты точно хочешь? – обрадовался он: тут уж не надо было стоять в очереди.

– Никогда больше не целуй меня во дворе, – сказала я. – Маме это не нравится.

– А я разве…

– Под самыми окнами!

– Точно?

– А ты забыл?

– Тогда уж я имею полное право… – изготовился к прыжку Федька. – Раз было, значит, все! Тут уж цепная реакция…

Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял любой ценой и на долгий срок не откладывал.

– Ты куда? Я пошутил… Это точно. Я пошутил.

Если люди, не привыкшие унижаться, должны это делать, их становиться жаль. И все-таки я любила, когда Федька След, гроза дома, суетился возле меня: пусть все видят, какая я теперь *полноценная* !

Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.

– Домой! – гордо сказала я. И повторила: – Только домой…

Но повторила уже растерянно, потому что в эту минуту с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что, если мама его прочтет?

Мама уже прочла.

– А кто я в твоей жизни? – не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом, который, словно с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила она. – Кто я? Не главный человек… Это бесспорно. Но все же *какой* ?!

Я так и стояла в пальто. А она продолжала:

– Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. И я предлагаю разъехаться… Это бесспорно.

– Нам с тобой?

– Нам?! Ты бы не возражала?

– А с кем же тогда? – искренне не поняла я.

– С той, которую ты… – Ее голос был на самом краю обрыва, – которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами…

Всегда безупречно выдержанная, мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины слезы я видела первый раз в жизни. И стала ее утешать.

Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.

Когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я:

– Вера написала… А я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни»… Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это бесспорно! А она написала о вас… Если бы ваш сын в детстве… А? Нам надо разъехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами… И не пытается отвоевывать у меня мою дочь!

Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.

– Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, – сквозь слезы, но уже твердо сказала мама. – Все сделаем по закону, по справедливости…

– Как же я без Верочки? – не поняла бабушка.

– А как же мы все… под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь… Я напишу! Когда Вера закончит учебный год… чтобы у нее не было нервного срыва.

Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.

…В борьбе за существование часто не выбирают средств… Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться. Разъехаться… И о разделе имущества «согласно существующим судебным законам».

– Поймите, я ничего лишнего не хочу! – продолжал доказывать мужчина, выдавленный из тюбика.

И тут я впервые услышала голос судьи.

– Судиться с матерью – самое *лишнее* на земле дело. А вы говорите: не надо лишнего… – произнесла она бесстрастным, не подлежащим обжалованию тоном.

«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен… Нужен, пока нужен!» – мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме.

Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а вернее, записку, адресованную маме и папе: «Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке».

Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.

– Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем… – судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто не услышал.

Бабушки дома не было.

– Где она? – тихо спросила я.

– Ничего не случилось, – ответил папа. – Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано: «Уехала в деревню. Не волнуйтесь: ничего страшного».

– К тете Мане?

– Почему к тете Мане? Ее давно уже нет… Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!

– К тете Мане? – повторила я. – К тому дубу?..

Окаменевшая на диване мама вскочила:

– К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?

– Она просто уехала… Ничего страшного! – заклинал папа. – Ничего страшного!

Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.

– Ничего страшного? Она к тете Мане уехала? К тете Мане? К тете Мане, да?! – кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног.

Николай Телешов

Самое лучшее

Бродил однажды пастух Демьян по лужайке с длинным кнутом на плече. Делать ему было нечего, а день стоял жаркий, и решил Демьян искупаться в речке.

Разделся и только влез в воду, глядит — на дне под ногами что-то блестит. Место было мелкое; он окунулся и достал с песка маленькую светлую подковку, величиной с человеческое ухо. Вертит ее в руках и не понимает на что она может годиться.

— Разве козла подковать, — смеется Демьян сам с собою, — а то куда годна такая малявка?

Взял он подковку обеими руками за оба конца и только хотел попробовать разогнуть или сломать, как на берегу появилась женщина, вся в белой серебряной одежде. Демьян даже смутился и ушел в воду по самую шею. Глядит из речки одна Демьянова голова и слушает, как женщина его поздравляет:

— Твое счастье, Демьянушка: нашел ты такой клад, какому равного нет во всем белом свете.

— А что мне с ним делать? — спрашивает Демьян ил воды и глядит то на белую женщину, то на подковку.

— Иди, отпирай скорей двери, входи в подземный дворец и бери оттуда все, что захочется, что понравится.

Сколько хочешь бери. Но только одно помни: не оставь там самого лучшего.

— А что там самое лучшее?

— Прислони-ка подкову вот к этому камню, — указала рукой женщина. И опять повторила: — Бери всего сколько хочешь, покуда не будешь доволен. Но когда назад пойдешь, то не забудь унести с собой самое лучшее.

И исчезла белая женщина.

Ничего не понимает Демьян. Огляделся по сторонам: видит перед собой на берегу большой камень, у самой воды лежит. Шагнул к нему и прислонил подковку, как говорила женщина.

И вдруг разломился камень надвое, открылись за ним железные двери, широко распахнулись сами собой, и перед Демьяном — роскошный дворец. Как только протянет он куда свою подковку, как только прислонит ее к чему, так все затворы перед ним растворяются, все замки отпираются, и идет Демьян, как хозяин, куда только вздумается.

Куда ни войдет, везде несметные богатства лежат.

В одном месте громадная гора овса, да какого: тяжелого, золотистого! В другом месте рожь, в третьем пшеница; такого зерна белоярого Демьян никогда и во сне не видывал.

А дальше — крупа, потом орехи, ягоды, яблоки, горох — всего не перечтешь.

«Ну, дело! — думает он. — Тут не то что себя самого прокормишь, а на целый город на сто лет хватит, да еще останется!»

Идет дальше и только дивится: огромные чаны стоят с молоком, с медом, с шипучей водой.

«Ну-ну! — радуется Демьян. — Раздостал я себе богатство!»

Беда только в том, что взошел он сюда прямо из речки, как был нагишом. Ни карманов, ни рубашки, ни шапки — ничего нет; не во что положить.

Вокруг него великое множество всякого добра, а вот насыпать во что, или во что завернуть, или в чем унести — этого ничего нет. А в две горсти много не положишь.

«Надо бы сбегать домой, мешков натаскать да к берегу подвести лошадь с телегой!»

Идет дальше Демьян — полны комнаты серебра; дальше — полны комнаты золота; еще дальше — драгоценные камни — зеленые, красные, синие, белые — все блестят, горят самоцветными лучами. Глаза разбегаются; неизвестно на что и глядеть, чего желать, что брать. И что здесь самое лучшее — не понимает Демьян, не может впопыхах разобраться.

«Надо скорей за мешками бежать», — одно только и ясно ему. Да еще досадно, что не во что сейчас положить хоть немножко.

«И чего я, дурак, шапку давеча не надел! Хоть бы в нее!»

Чтоб не ошибиться и не забыть взять самое лучшее, Демьян нахватал в обе горсти драгоценных камней всех сортов и пошел скорей к выходу.

Идет, а из горстей камешки сыплются! Жаль, что руки малы: кабы каждая горсть да с горшок!

Идет он мимо золота — думает: а вдруг оно самое лучшее? Надо взять и его. А взять нечем и не во что: горсти полны, а карманов нет.

Пришлось сбросить лишние камешки и взять хоть немножко золотого песочку.

Пока менял Демьян впопыхах камни на золото, все мысли у него разбрелись. Сам не знает, что брать, что оставить. Оставить — всякую малость жалко, а унести нет никакой возможности: у голого человека ничего, кроме двух горстей, для этого нет. Побольше наложит — валится из рук. Опять приходится подбирать да укладывать. Измучился Демьян, наконец, и решительно пошел к выходу.

Вот вылез он на берег, на лужайку. Увидал свою одежду, шапку, кнут — и обрадовался.

«Вернусь сейчас во дворец, насыплю в рубашку добычу и кнутом завяжу вот и готов первый мешок! А потом и за телегой сбегаю!»

Выложил он свои драгоценности из горстей в шапку и радуется, глядя на них, как они блестят и играют на солнце.

Поскорее оделся, повесил кнут на плечо и хотел было идти опять в подземный дворец за богатством, но никаких дверей перед ним уже нет, а лежит по-прежнему на берегу большой серый камень.

— Батюшки мои! — закричал Демьян, и даже голос его взвизгнул. — Где же моя маленькая подковка?

Он позабыл ее в подземном дворце, когда спешно менял камни на золото, ища самого лучшего.

Только теперь он понял, что самое лучшее-то он и оставил там, куда теперь без подковки никогда и ни за что не войдешь.

— Вот тебе и подковка!

Бросился он в отчаянии к шапке, к своим драгоценностям, с последней надеждой: а не лежит ли среди них «самое лучшее»?

Но в шапке была теперь только горсть речного песку да горсть мелких полевых камешков, какими полон весь берег.

Опустил Демьян и руки и голову:

— Вот тебе и самое лучшее!..

Майк Гелприн

Свеча горела

Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.

— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?

Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?

— Я, собственно… — собеседник замялся.

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то…

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.

— Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век… Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже

от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».

Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.

— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты… — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела…

— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.

— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.

— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.

«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».

Лермонтов «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий…

Максим слушал.

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.

Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.

Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.

Классика, беллетристика, фантастика, детектив.

Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра

он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.

Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.

— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.

«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения… По факту утилизирован…. Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова понести… Специально созданный комитет постановил…».

Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота.

Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.

Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?

— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.

— От… От кого?!

— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он… как его…

— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.

Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.

— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.

— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?

Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.

— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.

Грин Александр

Четырнадцать футов

I

- Итак, она вам отказала обоим? - спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. - Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

- Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

- Но что же особенного узнал трактирщик? - хмуро возразил Кист. Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей - все равно... Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.

- Ты не понимаешь, - сказал Род. - Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушились.

Как сказал Кист, "Кэт было все равно". Но не совсем. Однако она молчала.

II

"Кто любит, тот идет до конца". Когда оба - Род и Кист - пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

- Ступайте, - сказала Кэт. - Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: "цып-цып"...

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешение скал - отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня - обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а затем начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но, в общем, казалась на подходящих для того местах доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой - налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род - его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако, из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину - значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское "S", которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

- Будь дерево, - сказал Род, - но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

- Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно, - сказал Род, - только и всего. Представь, что пропасти нет.

- Разумеется, - сказал Кист рассеянно. - Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

- Итак... - начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку.

- Сначала я, а потом ты, - сказал он. - Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

- Готово, - сказал Кист. - Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль - одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста, - и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного - рука Рода скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз.

- Отпусти! - сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому. - Ты свалишься, говорю тебе! продолжал Род. - Отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль - мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз; затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец, лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

- А где Род? - поспешно спросила она, едва подала руку. - Или вы одни, Кист?!

"Если ты сделала выбор, то не ошиблась", - подумал вошедший.

- Род... - повторила Кэт. - Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

Стивен Ликок

Месть фокусника

— А теперь, леди и джентльмены, — сказал фокусник, — когда вы убедились, что в этом платке ничего нет, я выну из него банку с золотыми рыбками. Раз, два! Готово.

Все в зале повторяли с изумлением:

— Просто поразительно! Как он делает это?

Но Смышленый господин, сидевший в первом ряду, громким шёпотом сообщил своим соседям:

— Она… была… у него… в рукаве.

И тогда все обрадованно взглянули на Смышленого господина и сказали:

— Ну, конечно. Как это мы сразу не догадались?

И по всему залу пронёсся шепот:

— Она была у него в рукаве.

— Следующий мой номер, — сказал фокусник, — это знаменитые индийские кольца. Прошу обратить внимание на то, что кольца, как вы можете убедиться сами, не соединены между собой. Смотрите — сейчас они соединятся. Бум! Бум! Бум! Готово!

Раздался восторженный гул изумления, но Смышленый господин снова прошептал:

— Очевидно, у него были другие кольца — в рукаве.

И все опять зашептали:

— Другие кольца были у него в рукаве.

Брови фокусника сердито сдвинулись.

— Сейчас, — продолжал он, — я покажу вам самый — интересный номер. Я выну из шляпы любое количество яиц. Не желает ли кто-нибудь из джентльменов одолжить мне свою шляпу? Так! Благодарю вас. Готово!

Он извлек из шляпы семнадцать яиц, и в продолжение тридцати пяти секунд зрители не могли прийти в себя от восхищения, но Смышленый нагнулся к своим соседям по первому ряду и прошептал:

— У него курица в рукаве.

И все зашептали друг другу:

— У него дюжина кур в рукаве.

Фокус с яйцами потерпел фиаско.

Так продолжалось целый вечер. Из шепота Смышлёного господина явствовало, что, помимо колец, курицы и рыбок, в рукаве фокусника были спрятаны несколько карточных колод, каравай хлеба, кроватка для куклы, живая морская свинка, пятидесятицентовая монета и кресло-качалка.

Вскоре репутация фокусника упала ниже нуля. К концу представления он сделал последнюю отчаянную попытку.

— Леди и джентльмены, — сказал он. — В заключение я покажу вам замечательный японский фокус, недавно изобретённый уроженцами Типперэри. Не угодно ли будет вам, сэр, — продолжал он, обращаясь к Смышленому господину, — не угодно ли вам передать мне ваши золотые часы?

Часы были немедленно переданы ему.

— Разрешаете вы мне положить их вот в эту ступку и растолочь на мелкие кусочки? — с ноткой жестокости в голосе спросил он.

Смышленый утвердительно кивнул головой и улыбнулся.

Фокусник бросил часы в огромную ступку и схватил со стола молоток. Раздался странный треск.

— Он спрятал их в рукаве, — прошептал Смышлёный.

— Теперь, сэр, — продолжал фокусник, — разрешите мне взять ваш носовой платок и проткнуть в нем дырки. Благодарю вас. Вы видите, леди и джентльмены, тут нет никакого обмана, дырки видны простым глазом.

Лицо Смышлёного сияло от восторга. На этот раз все казалось ему действительно загадочным, и он был совершенно очарован.

— А теперь, сэр, будьте так любезны передать мне ваш цилиндр и разрешите потанцевать на нем. Благодарю вас.

Фокусник поставил цилиндр на пол, проделал на нем какие-то па, и через несколько секунд цилиндр стал плоским, как блин.

— Теперь, сэр, снимите, пожалуйста, ваш целлулоидный воротничок и разрешите мне сжечь его на свечке. Благодарю вас, сэр. Не позволите ли вы также разбить молотком ваши очки? Благодарю вас.

На этот раз лицо Смышлёного приняло выражение полной растерянности.

— Ну и ну! — прошептал он. — Теперь уж я решительно ничего не понимаю.

В зале стоял гул. Наконец фокусник выпрямился во весь рост и, бросив уничтожающий взгляд на Смышленого господина, сказал:

— Леди и джентльмены! Вы имели возможность наблюдать, как с разрешения вот этого джентльмена я разбил его часы, сжёг его воротничок, раздавил его очки и протанцевал фокстрот на его шляпе. Если он разрешит мне ещё разрисовать зелёной краской его пальто или завязать узлом его подтяжки, я буду счастлив и дальше развлекать вас… Если нет — представление окончено.

Раздались победоносные звуки оркестра, занавес упал, и зрители разошлись, убеждённые, что все же существуют и такие фокусы, к которым рукав фокусника не имеет никакого отношения.

Александр Грин

Зелёная лампа

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.

Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.

— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.

— Я голоден… и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. — Это был обморок.

— Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.

Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб.

Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением лёгких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.

Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:

— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймёте комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажжённая лампа, прикрытая зелёным абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если

вы согласны так поступить, — я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.

— Если вы не шутите, — отвечал Ив, страшно изумлённый предложением,-то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, — как долго будет длиться такое моё благоденствие?

— Это неизвестно. Может быть, год, может быть, — всю жизнь.

— Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зелёная иллюминация?

— Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.

— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!

Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.

Прощаясь, Стильтон сказал:

— Напишите до востребования так: «3-33-6». Ещё имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, — через год, — словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится…

— Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовым билет. — Или этот человек сошёл с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати, только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина.

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома j 52 по Ривер-стрит сияло мягким зелёным светом. Лампа была придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:

— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дёшево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдёт с ума… Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!

Действительно, тёмная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придёт?»

— Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что весёлого в этой шутке?

— Игрушка… игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезённый старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице тёмного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьёзный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.

По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего

ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.

— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьёзный, высокий человек с грустным взглядом. — Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? — Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зелёной лампы. Я узнал вас с первого взгляда.

— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон. — Что произошло? Возможно ли это?

— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?

— Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?

— Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражён. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.» Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жёг зелёную лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зелёное окно не то с досадой, не то с презрением. «Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня. — Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежду, а я… я почти разорён!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…

— А дальше? — тихо спросил Стильтон.

— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…

Наступило молчание.

— Я давно не подходил к вашему окну, — произнёс потрясённый рассказом Ива Стильтон, — давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все ещё горит зелёная лампа… лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня.

Ив вынул часы.

— Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, — быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.

11 июля 1930 г.

Адрей Платонов

Неизвестный цветок

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впилось ими в камень и в глину и стало расти. Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину. Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев. Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти. Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть. В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою. И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она. На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть. «Может, это цветок скучает там по своей матери, как я» — подумала Даша. Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и

спросила его: — Отчего ты такой? — Не знаю, — ответил цветок. — А отчего ты на других непохожий? Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием. — Оттого, что мне трудно, — ответил цветок. — А как тебя зовут? — спросила Даша. — Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу. Даша осмотрелась в пустыре. — Тут камень, тут глина! — сказала она. — Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой? — Не знаю, — ответил цветок. Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку. На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала: — Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину. Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде. Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали. А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его. Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика. Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне. Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

Ганс Христиан Андерсен

Соловей

И вдруг за окном раздалось чудное пение. То был маленький живой соловей. Он узнал, что император болен, и прилетел, чтобы утешить и ободрить его. Он сидел на ветке и пел, и страшные призраки, обступившие императора, все бледнели и бледнели, а кровь все быстрее, все жарче приливала к сердцу императора.

Сама Смерть заслушалась соловья и лишь тихо повторяла:

- Пой, соловушка! Пой еще!

- А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? И знамя? И корону? - спрашивал соловей.

Смерть кивала головой и отдавала одно сокровище за другим, а соловей всё пел и пел. Вот он запел песню о тихом кладбище, где цветет бузина, благоухают белые розы и в свежей траве на могилах блестят слезы живых, оплакивающих своих близких. Тут Смерти так захотелось вернуться к себе домой, на тихое кладбище, что она закуталась в белый холодный туман и вылетела в окно.

- Спасибо тебе, милая птичка! - сказал император. - Чем мне вознаградить тебя?

- Ты уже наградил меня, - сказал соловей. - Я видел слезы на твоих глазах, когда первый раз пел перед тобой, - этого я не забуду никогда. Искренние слезы восторга - самая драгоценная награда певцу!

И он запел опять, а император заснул здоровым, крепким сном.

А когда он проснулся, в окно уже ярко светило солнце. Никто из придворных и слуг даже не заглядывал к императору. Все думали, что он умер. Один соловей не покидал больного. Он сидел за окном и пел еще лучше, чем всегда.

- Останься у меня! - просил император. - Ты будешь петь только тогда, когда сам захочешь.

Я не могу жить во дворце. Я буду прилетать к тебе, когда сам захочу, и буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, обо всем, что делается вокруг тебя и чего ты не знаешь. Маленькая певчая птичка летает повсюду - залетает и под крышу бедной крестьянской хижины, и в рыбачий домик, которые стоят так далеко от твоего дворца. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне...

- Всё, что хочешь! - воскликнул император и встал с постели.

Он успел уже надеть свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

- Обещай мне не говорить никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем большом мире. Так дело пойдет лучше.

И соловей улетел.

Тут вошли придворные, они собрались поглядеть на умершего императора, да так и застыли на пороге.

А император сказал им:

- Здравствуйте! С добрым утром!

Георгий Скребицкий

Лесной голосок

Солнечный день в самом начале лета. Я брожу неподалёку от дома, в берёзовом перелеске. Всё кругом будто купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. Надо мной струятся ветви берёз. Листья на них кажутся то изумрудно-зелёными, то совсем золотыми. А внизу, под берёзами, по траве тоже, как волны, бегут и струятся лёгкие синеватые тени. И светлые зайчики, как отражения солнца в воде, бегут один за другим по траве, по дорожке.

Солнце и в небе, и на земле... И от этого становится так хорошо, так весело, что хочется убежать куда-то вдаль, туда, где стволы молодых берёзок так и сверкают своей ослепительной белизной.

И вдруг из этой солнечной дали мне послышался знакомый лесной голосок: «Ку-ку, ку-ку!»

Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё не видал даже на картинке. Какая она из себя? Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде совы. Но, может, она совсем не такая? Побегу — погляжу.

Увы, это оказалось совсем не просто. Я — к ней на голос. А она замолчит, и вот снова: «Ку-ку, ку-ку», но уже совсем в другом месте.

Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мною в прятки? Она прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а ты поищи.

Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. Кукушка замолкла, может, ищет меня? Сижу молчу и я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг где-то неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!»

Я — молчок: поищи-ка лучше, не кричи на весь лес.

А она уже совсем близко: «Ку-ку, ку-ку!»

Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, только грудка в тёмных пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся да как закричит: «Ку-ку, ку-ку!»

Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на ястребка похожа.

Я как кукукну ей из куста в ответ! С перепугу она чуть с дерева не свалилась, сразу вниз с сучка метнулась, шмыг куда-то в лесную чащу, только её я и видел.

Но мне и видеть её больше не надо. Вот я и разгадал лесную загадку, да к тому же и сам в первый раз заговорил с птицей на её родном языке.

Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне первую тайну леса. И с тех пор вот уж полвека я брожу зимою и летом по глухим нехоженым тропам и открываю всё новые и новые тайны. И нет конца этим извилистым тропам, и нет конца тайнам родной природы.

Георгий Скребицкий

Четыре художника

Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето и Осень; сошлись да и заспорили: кто из них лучше рисует? Спорили-спорили и порешили в судьи выбрать Красное Солнышко: «Оно высоко в небе живёт, много чудесного на своём веку повидало, пусть и рассудит нас».

Согласилось Солнышко быть судьёй. Принялись живописцы за дело. Первой вызвалась написать картину Зимушка-Зима.

«Только Солнышко не должно глядеть на мою работу,— решила она.— Не должно видеть её, пока не закончу».

Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай покрывать землю свежим пушистым снегом! В один день всё кругом разукрасила.

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в сказке.

Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторонам — то тут, то там свою волшебную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. Нужно её снова надеть. А вон меж кустов серый зайчишка крадётся. Плохо ему, серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься.

«Оденься и ты, косой, в белую шубку,— решила Зима,— тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь».

А Лисе Патрикеевне одеваться в белое незачем. Она в глубокой норе живёт, под землёй от врагов прячется. Её только нужно покрасивее да потеплее нарядить.

Чудесную шубку припасла ей Зима, просто на диво: вся ярко-рыжая, как огонь горит! Поведёт лиса пушистым хвостом, будто искры рассыплет по снегу.

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, что Солнышко залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.

А внизу под ними разные кустики да молоденькие деревца укрылись. Их, словно детишек, Зима тоже в белые шубки одела.

И на рябинку, что у самой опушки растёт, белое покрывало накинула. Так хорошо получилось! На концах ветвей у рябины грозди ягод висят, точно красные серьги из-под белого покрывала виднеются.

Под деревьями Зима расписала весь снег узором разных следов и следочков. Тут и заячий след: спереди рядом два больших отпечатка лап, а позади — один за другим — два маленьких; и лисий — будто по ниточке выведен: лапка в лапку, так цепочкой и тянется; и серый волк по лесу пробежал, тоже свои отпечатки оставил. А вот медвежьего следа нигде не видать, да и не мудрено: устроила Зимушка-Зима Топтыгину в чаще леса уютную берлогу, сверху укрыла мишеньку толстым снеговым одеялом: спи себе на здоровье! А он и рад стараться — из берлоги не вылезает. Поэтому медвежьего следа в лесу и не видать.

Но не одни только следы зверей виднеются на снегу. На лесной полянке, там, где торчат зелёные кустики брусники, черники, снег, будто крестиками, истоптан птичьими следочками. Это лесные куры — рябчики и тетерева — бегали здесь по полянке, склёвывали уцелевшие ягоды.

Да вот они и сами: чёрные тетерева, пёстрые рябчики и тетёрки. На белом снегу как все они красивы!

Хороша получилась картина зимнего леса, не мёртвая, а живая! То серая белка перескочит с сучка на сучок, то пёстрый дятел, усевшись на ствол старого дерева, начнёт выколачивать семена из сосновой шишки. Засунет её в расщелину и ну клювом по ней колотить!

Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живёт вся картина седой чародейки — Зимы. Можно её и Солнышку показать.

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зимний лес, на долины... А под его ласковым взглядом всё кругом ещё краше становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зелёные огоньки зажглись на земле, на кустах, на деревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в воздухе тоже заискрились, заплясали разноцветные огоньки.

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше и не нарисуешь.

Антон Чехов

Завершающий монолог из рассказа «Крыжовник»

...Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой.

К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, мною довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. . Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. .

И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда - болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, - и все обстоит благополучно.

Не успокаивайтесь! Не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!

Антон Чехов

"После театра"
Монолог Нади Зелениной

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас, - написала она, - но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же уверять, что вы меня любите, - продолжала Надя писать, думая об офицере Горном. - Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!..»

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то, наверное, был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

«Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, - продолжала она писать. - Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера

он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного».

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы....

..Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное. Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

- Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

- Нет, буду лучше любить Груздева, - решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погодя будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка.

Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати, и говорила:

- Господи! Господи! Господи!

Э. Олби.

"Что случилось в зоопарке".
Монолог Джерри ("Монолог о Джерри и собаке").

ИСТОРИЯ О ДЖЕРРИ И СОБАКЕ! (Обычным тоном.) Дело в том, что иной раз необходимо сделать большой крюк в сторону, чтобы вернуться на место кратчайшим путем; впрочем, может, это совсем и не о том. Но именно потому я сегодня отправился в зоопарк и потому шел на север… вернее, в северном направлении, пока не пришел сюда. Ну ладно. Так вот, собака эта - какое-то черное чудовище: огромная морда, крохотные уши, а глаза… красные, кровью налитые, может, больные; и все ребра выпирают наружу. Пес черный, весь сплошь черный как уголь, только глаза красные и… да, и на правой передней лапе открытая рана, тоже красная. Страшилищу этому, как видно, уже немало лет. Ну, что еще… да, иногда он показывает клыки, серо-желто-белые, когда рычит. Вот так - гр-р! Он зарычал на меня, как только увидел впервые, в тот день, когда я въехал в этот дом. И с первой минуты от этого пса мне не стало покоя. Понимаете, животные ко мне не льнут, я не святой Франциск, которого облепляли птицы. Животные ко мне равнодушны… как и люди. (Чуть усмехается.) Почти всегда. Но этот пес не был равнодушен. С первой же минуты он стал на меня рычать, он бежал за мной и норовил вцепиться мне в ногу. Не то чтобы он кидался на меня как бешеный, нет - он ковылял вслед, но довольно бойко и очень настойчиво, хотя мне всегда удавалось удрать. Он вырвал клок из моих штанов - видите, вот заплатка; это было на второй день, как я переехал туда, но я пнул его ногой и мигом взлетел на лестницу. (Недоуменно.) Как с ним управляются другие жильцы, до сих пор не знаю, но сказать вам правду? По-моему, это он так только со мной. Я его к этому располагаю. Ну вот. Так продолжалось целую неделю, и, как ни странно, только когда я входил, - когда я выходил, он не обращал на меня никакого внимания. Вот что меня занимает. Верней, занимало. Псу вроде бы только и нужно было, чтобы я забрал свои пожитки и ночевал на улице. Однажды я, спасаясь от него, влетел по лестнице в свою комнату и призадумался. И решил. Сначала попробую убить пса добротой, а если не выйдет… так просто убью.

На другой день я купил целый кулек бутербродов с котлетами, не пережаренными, без кетчупа, без лука. По пути домой хлеб я выкинул, а котлеты оставил.

Я приоткрыл дверь - он уже меня ждет в подъезде. Примеривается. И рычит. Я осторожненько вошел, вынул котлеты из кулька и положил шагах в десяти от пса. Вот так. Он перестал рычать, принюхался и двинулся к котлетам, сначала медленно, потом побыстрее. Дошел, остановился, поглядел на меня. Я ему улыбнулся, так, знаете, заискивающе. Он опустил морду, понюхал и вдруг - гам! - набросился на котлеты. Как будто в жизни ничего не ел, кроме тухлых очистков. Наверно, так и было. Мне думается, хозяйка тоже питается только тухлятиной. Ну вот. Он вмиг сожрал котлеты, попробовал сожрать и бумагу, потом сел и улыбнулся. Даю слово, он улыбнулся; кошки ведь тоже улыбаются, я видел. И вдруг - раз! - как зарычит и как кинется на меня. Но и тут он меня не догнал. Я вбежал к себе, бросился на кровать и опять стал думать о собаке. Сказать по правде, мне было очень обидно, и я разозлился. Шесть отличных котлет почти без свинины, со свининой они такие отвратные… Я был просто оскорблен. Но, поразмыслив, я решил попытаться еще. Понимаете, пес явно питал ко мне антипатию. И мне хотелось узнать, смогу я эту антипатию побороть или нет. Пять дней подряд я носил ему котлеты,

и всегда повторялось одно и то же: зарычит, понюхает воздух, подойдет, поглядит, сожрет, гам-гам-гам, улыбнется, зарычит и - раз - на меня! Наша улица уже была усеяна ломтиками хлеба от бутербродов. Я был не столько возмущен, сколько оскорблен. И я решил его убить...

...Да не бойтесь вы. Мне это не удалось. В тот день, когда я решил убить пса, я купил только один бутерброд с котлетой и, как я думал, смертельную дозу крысиного яда. А когда я покупал котлету, я сказал продавцу, что хлеба не надо, и думал, что он ответит что-нибудь вроде: котлет без хлеба не отпускаем, или: что ж вы, с руки ее есть будете? Но нет, он любезно завернул котлету в вощеную бумагу и сказал: «Кошечке своей скормите?» Я хотел было сказать: нет, хочу отравить знакомого пса. Но «знакомый пес» - это как-то глупо, и я ответил, боюсь, что слишком громко и официально: «Да, скормлю своей кошечке». Люди вскинули на меня глаза. И вечно так - когда я хочу упростить дело, люди вскидывают на меня глаза. Но правда, обошлось без усмешечек и всяких там острот. Так. По дороге домой я размял котлету в руках и перемешал с крысиным ядом. Мне было и грустно и противно. Открываю дверь, вижу, сидит это чудище, ждет подачки, а потом на меня кинется. Он, бедняга, так и не сообразил, что, пока оп будет улыбаться, я всегда успею удрать. Ну, положил я отравленную котлету, стал на лестницу и жду. Бедный пес вмиг ее проглотил, улыбнулся и раз! - ко мне. Но я, как всегда, ринулся наверх, и он меня, как всегда, не догнал. А ПОТОМ ПЕС СИЛЬНО ЗАБОЛЕЛ! Я догадался потому, что он больше меня не подстерегал, а хозяйка вдруг протрезвела. В тот же вечер она остановила меня у лестницы и сообщила, что ее песика бог вот-вот возьмет к себе. Она даже забыла про свое гнусное вожделенье и в первый раз широко открыла глаза. А глаза у нее оказались совсем как у собаки. Она хныкала и умоляла меня помолиться за бедную собачку. Я хотел было сказать: мадам, если уж мелиться, так за моего соседа в кимоно, за семью пуэрториканцев, за человека в комнатке напротив, которого я никогда не видел, за женщину, которая всегда плачет за дверью, и за всех людей в таких домах, как этот… но я, мадам, не умею молиться. Но… чтобы упростить дело… я сказал, что помолюсь. Она вскинула на меня глаза. И вдруг сказала, что я все вру и, наверно, хочу, чтобы собачка околела. А я ответил, что вовсе этого не хочу, и это была правда. Я хотел, чтобы пес выжил, и не только потому, что я его отравил. Откровенно говоря, боюсь, я этого хотел, чтобы посмотреть, как он будет ко мне относиться.

Ну, так или иначе, а пес выздоровел, и хозяйку опять потянуло на джин - все стало как прежде. После того как она сказала, что ему лучше, я вечером шел домой из киношки, где смотрел картину, которую уже видел… а может, она просто ничем не отличалась от тех, что я уже видел… Я шел и так надеялся, что пес меня ждет… Я был… как бы это сказать… одержим?., заворожен?.. Нет, не то… мне до боли в сердце не терпелось встретиться со своим другом снова.

Да, со своим другом. Именно так. Мне до боли в сердце не терпелось встретиться с моим другом псом. Я вошел в дверь и, уже не осторожничая, прошел до лестницы. Он уже был там… и смотрел на меня. Я остановился. Он смотрел на меня, а я на него. Кажется… кажется, мы стояли так очень долго… словно истуканы… и глядели друг на друга. Я глядел на него дольше, чем он на меня. Собака вообще не может долго выдержать человеческий взгляд. Но за эти двадцать секунд или два часа, что мы смотрели друг другу в глаза, между нами возник контакт. Вот этого-то я и хотел: я любил

пса и хотел, чтобы он полюбил меня. Я пытался полюбить и пытался убить; и то и другое в отдельности не удалось. Я надеялся… сам не знаю почему, я ждал, что собака поймет…

Дело в том, дело в том, что… (Джерри предельно напряжен.) Если не получается общение с людьми, надо начинать с чего-то другого. С ЖИВОТНЫХ! (Говорит гораздо быстрее и словно заговорщик.) Понимаете? Человек обязательно должен как-то общаться хоть с кем-нибудь. Если не с людьми… если не с людьми… так с чем-то другим. С кроватью, с тараканом, с зеркалом… нет, с зеркалом не годится, это уж последнее дело… С тараканом… с… с ковриком, с рулоном туалетной бумаги… нет, это тоже не годится, как и зеркало. Видите, как трудно - очень мало что годится! С уличным перекрестком и разноцветными огнями, которые отражаются на мокрых тротуарах… со струйкой дыма… и… и с колодой порнографических карт, с сейфом… БЕЗ ЗАМКА… знаться с любовью, с блевотиной, с плачем, с яростью оттого, что хорошенькие дамочки вовсе не хорошенькие и не дамочки, с торговлей телом, которое есть сосуд любви, и я могу доказать это, с истошным воем, оттого что ты никак не умрешь… с богом. Как вы считаете? С богом, а он - в моем соседе, что ходит в кимоно и выщипывает брови, в той женщине, что всегда плачет за своей закрытой дверью… с богом, который, мне говорили, давно повернулся спиной к нашему миру. А иной раз… и с людьми. (Тяжелый вздох.) С людьми. Делиться мыслями. Разговаривать. А где лучше, где же лучше в этом унизительном подобии тюрьмы поделиться какой-то самой простой мыслью, как не в подъезде, у лестницы? Где? И попытаться… понять и чтобы тебя поняли… с кем же лучше попробовать, чем с… собакой… Да, именно с собакой.

Мне показалось, что это вполне разумная мысль. Как известно, человек - лучший друг собаки. Так вот, мы с этим псом глядели друг на друга, я дольше, чем он. И с тех пор так и пошло. Каждый раз, встречаясь, мы с ним застывали на месте. Мы смотрели друг на друга грустно и чуть-чуть подозрительно, а затем изображали равнодушие. Каждый спокойно проходил мимо другого; мы уже понимали друг друга. Это очень грустно, но согласитесь, все-таки это было взаимопонимание. Мы много раз пытались общаться, но ничего не вышло. Пес возвращался к куче гнилых отбросов, а я беспрепятственно шел к себе. Я понял, что доброта и жестокость, сами по себе и отдельно одно от другого, ни к чему не приводят; и я понял, что в сочетании, одновременно они учат чувствовать. Но какой от этого толк? Мы с псом пришли к компромиссу, к своего рода сделке. Мы друг друга не любим, но и не обижаем, потому что не пытаемся понять. И вот скажите, то, что я кормил собаку, можно считать проявлением любви? А может, старанья пса укусить меня были тоже проявлением любви? Но если нам не дано понять друг друга, так зачем мы вообще придумали слово «любовь»?

Михаил Шолохов

"Тихий Дон"

Монолог Григория (сцена битвы с австрийцами)

Подъесаул Полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй; туго подбирая поводья, продел руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня, разворачиваясь, готовясь. Подъесаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной.

- Со-о-от-ня-а-а-а-а! - Рассыпаться лавой, и вперед", - обрезал он команду и выпустил коня.

Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику, как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес вперед. Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Пулемет без передышки стлал над головами казаков веером разбегающийся визг пуль. В середине грудной клетки Григория словно одубело, он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги.

Первым упал с коня хорунжий Ляховский. На него наскакал Прохор. Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного: конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле хорунжего, ощерил зубы и упал, подогнув шею. Падали еще. Казаки падали и кони. Сквозь пленку слез, надутых ветром, Григорий глядел перед собой на серую киповень бежавших от окопов австрийцев. Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные топотали где-то сзади.

Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья... Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел выдернуть ее и, под тяжестью оседавшего тела, ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад, перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Григорий, сам не зная для чего, повернул коня. Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы. По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно

показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный покривленный суровый рот.

- Эй, ты! - крикнул, проезжая посредине улицы, незнакомый казачий офицер.

Григорий глянул на его белую, покрытую пылью кокарду и, спотыкаясь, пошел к коню. Путано-тяжел был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу...

Иван Бунин

"Волки"

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками - мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее - вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича.

- Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую крепкую шею.

Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

- Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

- Сейчас, сейчас! - кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад.

Наконец, она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натыкается на что-то - малый круто осаживает лошадей.

- Волки! - вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара в дали направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, - кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, - прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась.

- Дела давно минувших дней! - говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на

ярко-мгновенные дуги падающих звезд. - Волки испугали, лошади понесли, - говорила она. - А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

Иван Бунин

"Холодная осень"
(Монолог для девушки)

В июне того года он гостил у нас в имении - всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам на сутки - проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

- Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, - мы знали какой, - и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

- Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

- Да, если позволите, утром, - ответил он. - Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

- Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра... Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, - я вздумала раскладывать пасьянс, он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

- Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

- Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
Смотри - меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. "Надень свою шаль и капот..." Времена наших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой! Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

- Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер... Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке.

Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

- Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: "А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то срок - ведь все в конце концов забывается?" И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

- Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

- Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, - в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, - и мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку. Постояв, вошли в опустевший дом....

Убили его - какое странное слово! - через месяц. Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то,что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, - остальное ненужный сон. И я верю: где-то там он ждет меня - с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. "Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне..."

Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

Анатолий Приставкин

«Ночевала тучка золотая» (начало)
(Монолог для парня 12-15 лет)

Было утро, теплое, без единого облачка, без ветерка. В голубом, по-утреннему размытом небе четко вырисовывались близкие горы. Снег ослепительно сиял на вершинах. Звенели кузнечики, попискивали птахи. Черной стаей прошелестели скворцы.

Колька отряхнул землю со штанов, осмотрелся, даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, в какой стороне деревня Березовская. Но ничего, конечно, не увидел. Выбрал направление - верное, как ему показалось, и пошел. Сашка и Демьян не могли уйти далеко и тоже, если догадаются, пойдут в Березовскую.

Шел он и шел, отлепляя от лица густую паутину, и вспугивая жирных черных птиц. Когда уже не ждал, не надеялся, вдруг выскочил на сухое белое поле. За поворотом поле поредело, стали видны огороды с плетями тыкв и кабачков, верхушки тополей, крыши домов.

Колька ускорил шаг, почти побежал.

Он почему-то верил, что сейчас войдет в деревню и сразу разыщет Сашку с Демьяном. А нет, так спросит. Ему скажут, где их видели и куда они пошли. Наверное, Колька был слишком беспечен. Иначе бы на подходе приметил, что в деревне никого нет. Но он думал о Сашке и мало глядел по сторонам. Лишь приблизившись к первому дому, он увидел, что тут выбиты окна. На пути стоял колодец с круглой бетонной нишей и помятым ведерком.

И тут он увидел Сашку.

Колька свистнул в два пальца и усмехнулся: "Во-о, Сашка уж и свиста не слышит, оглох!" Колька побежал по улице, прямо к Сашке, но на подходе стал замедляться сам собой шаг: уж очень странным показался вблизи Сашка. Колька сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился.

Сашка не стоял, он висел, нацепленный под мышками на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развевающимися на ветру метелками. Один початок, его половинка, был засунут в рот и торчал наружу толстым концом. Когда Колька встал напротив, он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны. Они и щеку правую поклевали, и ухо, но не так сильно. Ниже живота и ниже кукурузы свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.

Все, что делал Колька дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.

Он приблизился к Сашке, и, обхватив его руками, принял на себя. Затем взял брата под мышки и поволок в дом. Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Проделав все это, Колька направился по дороге к колонии. Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся в Березовскую и притащил за собой на веревке тележку. Он снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко. Колька подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице. Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.

Он говорил ему: "Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может,

ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрей. Я был твоими руками и ногами в жизни, - а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили... А зачем оставили-то?"

"Знаешь, - говорил Колька, - я почему-то вспомнил, как в Томилинский детдом привезли из колхоза корзину смородыы. А я лежал тогда больной. А ты полез под телегу и нашел одну ягоду смородыы и принес мне... Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал: "Колька, я принес тебе ягоду смородыы, ты выздоравливай, ладно?" Я и выздоровел..."

Тут Колька услышал: скрип колес и мужские голоса впереди, и он торопливо в заросли свернул, затаился. Проехали.

Колька снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку, повез.

Валентина Осеева

«Динка прощается с детством»
Монолог для девушки 12-15 лет)

В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и сразу вспомнила, что сегодня воскресенье, сегодня приедет Хохолок. Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, никогда больше не сядет на раму его велосипеда и никуда не поедет с ним кататься. Ни в лес, ни в поле, ни по узенькой тропке среди моря солнечных колосьев ржи. Не будет и маленьких и больших тайн, рассказанных наедине верному другу Хохолку.

Тревожно, тревожно на душе у Динки. Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить незаслуженную обиду, как облегчить этот удар такому любящему сердцу? Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобрести этот велосипед, и с каким торжеством он примчался на нем из города в первый раз. “Теперь я буду катать тебя каждое воскресенье!” - заикаясь от радости, сказал он тогда. И с тех пор, уже второе лето, каждое воскресенье он обязательно мчал ее, куда она захочет.

- “Как я скажу ему? Как скажу?” - мучительно думала Динка, а в глубине террасы стоял Леня. Леня решительно шагнул с крыльца и, проследив остановившийся взгляд Динки, увидел въезжающий с дороги велосипед Хохолка.

- Не говори ему ничего. Слышишь меня?

- Слышу, - прошептала Динка, и губы ее дрогнули. - Я все понимаю, Леня... И ты не один, нас трое... А должно быть двое! И из нас троих нельзя обмануть никого!

- Что ты хочешь делать?

- Я люблю тебя, - прошептала Динка. - Из нас троих ты самый счастливый. Но сейчас уйди. Она оттолкнула его руку и пошла навстречу Хохолку. Она шла улыбаясь, и в улыбке ее была такая боль и такая необычайная нежность, что запыленный, усталый с дороги Хохолок сразу ожил и начал быстро и весело рассказывать, как всю неделю готовил ей маленький сюрприз.

- Я давно заметил, что тебе плохо сидеть на раме, но я не знал, как лучше сделать... И знаешь, кто мне помог? Мой батько. Мы вместе прикрепили вот это сиденье и приварили стремена... Вот садись, я подержу велосипед. Ну, попробуй же, попробуй... - торопился Хохолок.

- Я знаю, что это хорошо. Но этого уже не нужно. Я уже не девчонка. И люди могут подумать, что мы жених и невеста, - все больше запутываясь, бормотала Динка.

Но Хохолок понимал ее по-своему:

- Так мы скажем всем, что мы жених и невеста! Мы можем даже жениться хоть сегодня! Хоть сейчас!

- Нет, нет! - с ужасом закричала Динка. - Ты с ума сошел!

- Я не сошел... Я люблю тебя... я так давно люблю тебя... - заикаясь от волнения, повторял Хохолок. - Я буду так счастлив...

- Прости меня, - сказала она тихим, упавшим голосом. - Я сказала тебе неправду...

Они молча смотрели в глаза друг другу. Щеки Хохолка побледнели, в темном настороженном взгляде появилось предчувствие беды.

- Друг обманувший - хуже недруга. Это твои слова... Ты сказала мне их однажды, когда я хотел что-то скрыть от тебя, и с тех пор мы никогда не лгали друг другу, - сказал Хохолок.

- Да, мы не лгали. И я скажу правду. Я не могу любить тебя, Хохолок, потому что я люблю... Леню... Это не сейчас, это уже давно, только тогда мы были детьми...

- Довольно, я понял... Я никогда не думал об этом раньше. Но я все понял... И я сейчас уйду. - быстро прервал ее Хохолок. Он старался говорить спокойно, но сильно заикался.

- Ты уйдешь насовсем? - испуганно спросила Динка.

- Не знаю. Я уйду. Но если тебе будет что-нибудь нужно, ты пришлешь мне... весточку... И где бы я ни был... - Он поднял свой велосипед и не оглядываясь пошел к дороге.

Динка закрыла лицо руками и, бросившись ничком в траву, громко и жалобно заплакала.

- Прощай, прощай, Хохолок... - повторяла она, захлебываясь слезами. - Я знаю, ты уходишь надолго, надолго, насовсем...

Когда под колесами велосипеда заклубилась пыль, Динка уже не плакала. Она стояла у дороги и не отрывая глаз смотрела на черную точку, то исчезающую вдали, то снова возникающую на зеленых пригорках. Динка знала - это уходил из ее жизни ее друг, ее любимый товарищ, беззаветно преданный ей Хохолок.

Тамара Крюкова

«Костя плюс Ника» (начало)
(Монолог для девушки 12-15 лет)

Ника сидела на веранде, уставившись на книжную страницу пустыми глазами, и в третий раз перечитывала один и тот же абзац. Слова бессмысленной чередой проходили мимо, не оседая в сознании. Мысли Ники были далеки от похождений героев. Она сама виновата, что ее отправили в ссылку. Иначе она и не думала о своем пребывании здесь. Говорят, что дачу построили специально для нее, чтобы она дышала воздухом и поправлялась. Как бы не так! Просто нашли приличный предлог сплавить ее с глаз долой. Будто она не знает, что всем только мешает. Ника захлопнула бесполезную книгу и стала смотреть на улицу. Если бы только она могла подойти к калитке и открыть щеколду! Она бы без оглядки побежала по дороге на волю - туда, где простор и совсем нет людей, ни одного человека!

Ника схватила колокольчик и требовательно тряхнула им. Через некоторое время на веранде показалась сердитая, но безмолвная женщина.

- Я хочу, чтобы калитка была открыта. Мне надоело смотреть на мир в полоску! - сказала Ника.

Женщина скривилась, но повиновалась. Кусочек улицы, открывшийся в узком проеме калитки, был таким ничтожным, что ради этого не стоило и стараться, но Ника назло решила оставить калитку открытой.

Весной в предвкушении поездки в новое, незнакомое место Ника не могла дождаться, когда вырвется из золоченой клетки городской квартиры, но едва оказавшись на даче, она с ужасом поняла, что там, на десятом этаже, изолированная от всего мира, она была далеко не так болезненно одинока. Тут чужие мирки в шесть соток подступали вплотную. Ника со стороны наблюдала, как люди общаются, ходят друг к другу в гости, их жизни и интересы пересекаются, скрещиваются и расходятся. Взять хотя бы того парня, Костю. Наверняка он сейчас где-то с друзьями. Должно быть, им вместе интересно. Нике страстно захотелось быть одной из них, ведь у нее никогда не было друзей, и она знала о дружбе только из книг. Ну и пусть! Ей никто не нужен! Она проживет и одна!

И тут Ника увидела ЕГО. Зачем ОН опять здесь? Непоколебимая решимость Ники обойтись без людского общества затрещала по швам под натиском хрупкой надежды: а вдруг она все же подружится со сверстниками? Пускай этот парень грубый и дерзкий, но он единственный ровесник, с кем ей довелось общаться.

"Пусть он не пройдет мимо... Пусть заговорит..." - как заклинание, пульсировало у нее в висках.

Заметив широко распахнутую калитку, Костя замедлил шаг. Он хотел повернуть назад, но было поздно. "Змеюка", как и в первый раз, сидела на веранде. Их взгляды встретились. Вот непруха! Теперь даже если пройти мимо как ни в чем не бывало все равно потом гриб незаметно уже не подкинешь. Еще хуже получится. Возомнит, что он к ней подмазывается.

Видя, что Костя остановился, Ника решилась на отчаянный шаг: она первая заговорит с ним и пригласит зайти. Как прыгун с вышки, она набрала побольше воздуха, подалась вперед, но тут книга соскользнула с колен и шумно шлепнулась на пол. Чтобы скрыть

смущение, она нагнулась за книгой, но не достала. Пальцы едва скользнули по обложке. Не желая отступать, Ника с усилием потянулась вперед и внезапно потеряла равновесие. Стул качнулся и стал заваливаться. В панике девочка судорожно вцепилась в сиденье, но, не удержавшись, вместе со стулом полетела на пол.

Костя, не раздумывая, бросился к девчонке.

Она беспомощно лежала и даже не пыталась повернуться и привстать, хотя ее ноги были вывернуты, точно у тряпичной куклы. Глядя на неестественный излом фигуры, Костя вдруг ощутил, что к горлу подкатил горький, удушливый комок жалости. Его пронзила страшная мысль о том, что многие вещи, которые все считают само собой разумеющимися: ходить в школу, гонять на роликах, убегать с уроков, нырять в переполненный автобус... - для нее так же невозможны и недостижимы, как фантастические миры. А ведь ей лет пятнадцать - столько же, сколько ему, не больше.

Костя подхватил Нику под руки, пытаясь усадить на стул. Ноги девочки безжизненно подкашивались, волочась по полу. Наконец ему удалось водрузить Нику на стул.

Девочка резким движением одернула юбку и, не в силах сдержать слез, закрыла лицо руками. Почему из всех людей именно перед НИМ она выказала свое убожество? Как невыносимо унизительно! Больше всего ей хотелось быть как все, именно поэтому она отказывалась появляться вне дома в инвалидном кресле. И вот как назло!

- Сильно ушиблась? - с участием спросил Костя, по-своему истолковав ее плач.

Она молча замотала головой, не отрывая рук от лица.

- Дома-то есть кто? Может, позвать? - настаивал Костя.

- Тебе что, больше всех надо? Не нужна мне твоя жалость!

Костя с удивлением отметил, что не может сердиться на нее, хотя и цацкаться не намеревался. Он вздохнул и с присущей ему прямотой сказал:

- Знаешь, если бы ты не была девчонкой, я бы тебя сейчас треснул как следует, чтобы не задиралась.

Нику еще никто никогда не обещал треснуть. Ее оберегали, ей потакали, к ней относились как к убогой. Может ли быть, что он воспринимает ее как обычную девчонку? Ника боялась надеяться на это.

- А если бы я была парнем, ты бы меня треснул? - спросила она, пытливо вглядываясь Косте в глаза.

- Ну, наподдал бы, наверно, - пожал плечами Костя, не понимая, к чему она клонит.

- Мне еще никто не грозился наподдать, - сказала Ника, и вдруг губы ее дрогнули в робкой улыбке.

Костя улыбнулся в ответ:

- Вообще-то, если честно, я драк не люблю. Это я так сказал. Кстати, я тебе подарок принес, - спохватился он.

Гриб сиротливо валялся на полу. Шляпка примялась, но он все еще удивлял своими размерами.

- Вот зараза, сломался, - раздосадованно произнес Костя.

Он поднял гриб, смущенно обтер ладонью шляпку и протянул гостинец Нике.

- Побудь еще... Если ты не очень спешишь, - попросила Ника и тихо добавила: - Пожалуйста.

Уйти сейчас было невежливо.

- А какие книги ты любишь? - спросила Ника, чтобы поддержать разговор.

- Да так. Разные. Фэнтези уважаю.

- Я тоже, - обрадовалась совпадению Ника. - Читал "Арфистку Менолли"? Я ее вчера закончила.

- А я как раз сейчас читаю, там, где драконы родились. Классная книга.

- А у меня продолжение есть. Вся трилогия. Если хочешь, можешь взять почитать, - предложила Ника.

Они разговорились, удивляясь, как много одинаковых книг они читали. Ника ни с кем не обсуждала прочитанного, разве что с учительницей, приходившей к ней на дом давать уроки литературы, но вряд ли эти обсуждения можно было назвать интересными. И вдруг встречается человек, которому нравятся те же авторы и те же книги.

На веранду вышла женщина. Она смерила Костю настороженным взглядом и, обращаясь к Нике, отчеканила:

- Время пить чай.

- Позже, - не оборачиваясь, кивнула девочка.

- Ну, мне пора. Меня уже дома ждут, - засобирался Костя.

Ника тряхнула головой и сердито произнесла:

- Ну вот, как всегда, она все испортила. Влезла со своим чаем.

- Ты свою мать держишь в черном теле. Попробовал бы я ответить таким тоном, - сказал Костя.

- У меня нет мамы, - холодно ответила Ника.

- А это кто?

- Сиделка.

Глаза Ники подернулись льдом, и ее тон давал отчетливо понять, что она не хочет говорить на эту тему. Молчание неслышными щупальцами вползло на веранду, опять воздвигнув стену неловкости.

- Ну, я пошел, - поднялся Костя.

На этот раз она поняла, что он в самом деле уходит. Ника поспешно протянула Косте книгу.

- Хочешь почитать продолжение "Арфистки"? Вот, возьми.

- Но ты же сама читаешь.

- Я могу пока другую взять. Я всегда одновременно несколько книг читаю. Правда.

Он вышел на улицу и с легким сердцем направился к дому. Может, и хорошо, что он отнес Нике гриб. Вообще-то она неплохая девчонка и книг читала прорву, не чета Степке с Михой. С ней интересно поговорить, хоть и девчонка. Впервые за последние дни у Кости было отличное настроение.

Владимир Дятлов

Гвардейский значок

Я иду который раз по улице. Сентябрь. Незнакомый мне мальчик ногами гоняет по асфальту старый гвардейский значок. Глухо звенит бронза и... Тогда тоже был сентябрь. Страшно было перед атакой немцев, когда я - совсем молодой, четырнадцатилетний - сидел в окопе и ждал команды. Я видел перед собой спину командира, и он должен был дать команду, но все не давал. Внезапно раздался страшный взрыв. Меня отшатнуло куда-то в сторону, и последнее, что я смог увидеть, была яркая вспышка. И все заволокло туманом. А потом... Было только небо и кузнечик. Просто небо и просто кузнечик, стрекотание которого я вдруг услышал. Потом я стал чувствовать свое тело. Но радости почти не было. Была боль. Я застонал. Теплая струйка потекла в горло, забивая дыхание.

- Пить хочешь?

В воронке, оставшейся от снаряда, недалеко от меня лежала девушка.

- Да, - сказал я и еще раз сглотнул. Было такое ощущение, что меня полоснули по горлу бритвой. Было как-то особенно больно. Я лежал на боку, она тоже. И мы смотрели друг на друга.

- Тебе пить нельзя. У тебя рана на шее. Сейчас перевяжу, - сказала девушка, и стала ползти ко мне.

Я заметил, что ползет она как-то очень медленно. От ее губ шрамом по щеке протянулась алая дорожка. На ее гимнастерке, рядом с гвардейским значком, виднелось огромное пятно запекшейся крови.

- Лучше лежи, - сказал я. - Обойдусь и так.

- Нет, - сказала она. - Я сделаю тебе перевязку. Чего бы мне это ни стоило...

Я лежал и слушал, как она ползет. Где-то вдалеке грохотали выстрелы, раздавались взрывы, кто-то умирал и выживал. Я закрыл глаза и подумал, что теперь все равно. Но... Она, наконец, дошла до меня. Взглянула на меня своими большими синими глазами как-то очень пристально.

- Подними голову, - попросила.

- Не могу. Сил не хватает.

- Надо. Иначе кровью изольешь.

- А ты?

- Я в порядке. Подними, сказала. Я тебя очень прошу. Подними!

Долго тянулась эта мучительная для нас обоих процедура - перевязка. Наконец, все было закончено. Вконец обессиленные, мы лежали рядом и говорили. Она - о маме, о Волге, о школе... Я - о Черном море. Странные это были рассказы: мы часто теряли сознание, бредили, но упрямо говорили и говорили. И каждый что-то бормотал, словно отбивая кому-то невидимому телеграммы с одними и теми же текстами: "еще жив", "еще жива", "еще есть".... В тыл ее увозили первой. Я слышал, как она сказала санитару:

- Мой гвардейский значок отдайте вот этому мальчику.

Значок отдали, хотя санитаров потом здорово ругали за задержку. Я лежал спеленатый как младенец. Даже глаза завязали марлей. А рядом на подушке был ее значок... Больше никогда в жизни я не встречал моей спасительницы. И даже не знаю, как ее звали, и жива ли она сейчас. Только выщербленный пулей гвардейский значок храню, как память о Человеке, о синеглазой девушке с Волги. Храню как память...

Олег Богаев

Марьино поле
(Монолог Маши)

Я думала он давно погиб, а он вернулся… Лежу совсем уже мертвая, голова остывает… и вдруг чую, берет меня за руку… «здравствуй, - говорит, - Машенька»… И гладит так нежно… - «Это я, твой Ваня, вернулся к тебе… Посмотри на меня, живой я»! А я открыла глаза, вначале признать не могу… Откуда??? И точно, стоит мой Иван как днем весь в свету… «Что же ты», - говорит, - «заинька, меня перед смертью даже и не вспомнила… Ты, верно, забыла меня?».

«Война - дело не скорое… Победу сто лет ждут. Знаю, всё про тебя, Марья… На станцию ходила… А похоронку за зеркалом держишь… Но я-то живой!» - А я гляжу, и глазам своим верить не могу… Точь-в точь как на карточке – молоденький танкист… И ни одной сединки, представляешь… - «Не хорошо», - говорит, - «Маша… Муж твой с войны возвращается, а ты печальна лежишь... А ну-ка, вставай!» - Сели за стол, налили, выпили. Он спрашивает: «Тут что… тоже… война с фрицем была?» Я ему – «Да вроде его… Кто съехал, кто умер…Сима, Прасковья и я - троем мы здесь доживали, пока я не померла». - Молчим. А он грустно глядит так в окно: «Эх, люди, что ж вы с нашей страною наделали?.. Куда не глянь - везде разруха, везде одна могила. Эх… И врагов нет, и друзей нет, и ни добрых, и не злых… Никого нет. Ничего нет. Посмеяться бы, да смеха нет, поплакать бы, да слезы высохли… Стыд один». Снова выпил, и вдруг говорит - «Но нам ли печалиться, Маша?! Русский солдат на то и герой, что любое чудо сварганит! Вся деревня думала, что мы на фронтах погибли?! А-н нет! Мы смерть облопошили!»

«Все мы живые, все как есть до единого! И вернемся», - говорит, - «на литерных поездах. Все в орденах, при параде! И заново все наладим, отстроим, и лучше прежнего заживем! А сейчас», - говорит, - «отправляйтесь на станцию встречать нас. Мы вернемся к маю, вровень к кануну победы».

Вернемся, говорит, а число не назвал. Вот тут и думай, когда вернутся? Когда???

Сергей Узун

"Слабо?"

- А давай наперегонки до горки? – предложил он ей, предвкушая победу.

- Неа. – отказалась она – Воспитательница сказала не бегать. Попадет потом.

- Струсила? Сдаешься? – подначил он ее и засмеялся обидно.

- Вот еще. – фыркнула она и рванула с места к горке.

Потом они сидели в группе, наказанные, под присмотром нянечки, смотрели в окно как гуляют другие и дулись друг на друга и на воспитательницу.

- Говорила тебе – попадет. – бурчала она.

- Я бы тебя перегнал обязательно – дулся он – Ты нечестно побежала. Я не приготовился...

- А спорим я быстрей тебя читаю? – предложил он ей.

- Хахаха. – приняла она пари – Вот будут проверять технику чтения и посмотрим. Если я быстрее – будешь мой портфель до дому и до школы таскать всю неделю.

- А если я – отдаешь мне свои яблоки всю неделю! – согласился он.

Потом он пыхтел по дороге с двумя ранцами и бурчал:

- Ну и что! Зато ты не запоминаешь что читаешь и пишешь медленнее. Спорим?...

- А давай поиграем. – предложил он – Как будто бы я рыцарь, а ты как будто бы дама сердца.

- Дурак. – почему-то обиделась она.

- Слабо? – засмеялся он – Слабо смущаться при виде меня? И дураком не обзываться тоже слабо.

- И ничего не слабо. – повелась она – Тогда вот чего. Ты меня тоже дурой не обзываешь и защищаешь.

- Само собой – кивнул он – А ты мне алгебру решаешь. Не рыцарское это дело.

- А ты мне сочинения пишешь. – хихикнула она – Врать и сочинять – как раз рыцарское дело.

А потом он оправдывался в телефон:

- А не надо было себя как дура вести. Тогда никто бы дурой и не назвал. Я, кстати, и извинился сразу...

- Ты сможешь сыграть влюбленного в меня человека? – спросила она

- С трудом, – ехидно ответил он – Я тебя слишком хорошо знаю. А что случилось?

- На вечеринку пригласили. А одной идти не хочется. Будут предлагать всякое.

- Нуу.. Я даже не знаю. - протянул он.

- Слабо? – подначила она.

- И ничего не слабо. – Принял он предложение – С тебя пачка сигар, кстати.

- За что? – не поняла она.

- Эскорт нынче дорог. – развел руками он.

А по дороге домой он бурчал:

- Сыграй влюбленного, сыграй влюбленного. А сама по роже лупит ни за что... Влюбленные между прочим целоваться лезут обычно…

- Что это? – спросила она.

- Кольцо. Не очевидно разве? – промямлил он.

- Нибелунгов? Власти? Какая-то новая игра затевается?

- Угу. Давай в мужа и жену поиграем. – Выпалил он
- Надо подумать. – Кивнула она.
- Слабо? – подначил он.
- И ничего не слабо. – Протянула она - А мы не заигрываемся?
- Да разведемся если что. Делов-то. – хмыкнул он.
А потом он оправдывался:
- А откуда мне знать как предложения делаются? Я ж в первый раз предлагаю. Ну хочешь еще раз попробую? Мне не слабо.
- Сыграем в родителей? – предложила она.
- Давай. В моих или в твоих? – согласился он.
- Дурак. В родителей собственного ребенка. Слабо?
- Ого как. – задумался он – Не слабо, конечно, но трудно небось..
- Сдаешься? – огорчилась она
- Не, не. Когда эт я тебе сдавался? Играю, конечно. – решился он.
- Усложняем игру. Ты теперь играешь в бабушку.
- Правда? – не поверила она.
- Да. – кивнул он – Слабо тебе в бабушку сыграть?
- А ты в данном случае во что играешь?
- В мужа бабушки. – засмеялся он – Глупо мне в бабушку играть.
- В де-душ-ку. Как бы ты тут не молодился. – засмеялась она – Или слабо?
- Куда я денусь-то...
Она сидела у его кровати и плакала:
- Сдаешься? Ты сдаешься что ли? Выходишь из игры? Слабо еще поиграть?
- Угу. Похоже что так. – ответил он – Неплохо поиграли, да?
- Ты проиграл раз сдаешься. Понял? Проиграл.
- Спорное утверждение. – улыбнулся он...
И умер.

Фёдор Достоевский

"Подросток"
(Монолог для молодого человека 15-17 лет)
(ч. 1)

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Я никогда не ходил на аукционы, я еще не позволял себе этого; и хоть теперешний "шаг" мой был только примерный, но и к этому шагу я решил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией и стану совершенно свободен. Правда, я далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня - то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек до тридцати; были и купцы, и жиды, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых "чисто". В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле судебный пристав и производил распродажу вещей. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Все это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: "захочу поставлю, захочу уйду - моя воля". Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает - ощущение не без приятности.

Народу было много. Были те, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая сафьянная подушка, за нею шкатулка. Наконец в руках пристава очутился альбом. "Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости – цена два рубля!" Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали; конкурентов не было.

- Два рубля пять копеек, - сказал я, опять, кажется, стуча зубами. Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и наскоро, стал разглядывать: не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире - альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями. Я решил, что "провалился"; если кому чего не надо, так именно этого. "Ничего, - решил я, - первую карту непременно проигрывают; даже примета хорошая". Мне решительно было весело.

- Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? - вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. - Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

- Два рубля пять копеек.

- Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

- Выйдемте, - шепнул я ему, замирая. Мы вышли на лестницу.

- Я уступлю вам за десять рублей, - сказал я, чувствуя холод в спине.

- Помилосердуйте, да ведь это - дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

- Вы же покупаете.

- Да ведь я по особому случаю!

Я повернулся и пошел.

- Да возьмите четыре рубля, - нагнал он меня уже на дворе, - ну, пять.

Я молчал и шагал.

- Нате, берите! - Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

- А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять - а?

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, - не то что от восторга, а сам не знаю отчего.

- Слушайте, - пробормотал дружески и ужасно любя его: Джемс Ротшильд еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов, - вот как люди делают!

- Так вы Ротшильд, что ли? - крикнул он мне с негодованием.

Я быстро вышел из дому. Один шаг - и семь рублей девяносто пять копеек нажил! Шаг был бессмысленный, детская игра, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко... Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать - и так и шел, не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил его даме. Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: "Merci, мсье". Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

Джеймс Крюс

"Тим Тайлер или Проданный смех"
Монолог Тима Тайлера (для мальчика 12-15 лет)

Не успел Тим выговорить последнее слово, как Треч сунул голову под черную материю. "Как Петрушка в кукольном театре", - подумал Тим, чувствуя непреодолимое желание смеяться, и... рассмеялся. Смех словно поднялся откуда-то изнутри, защекотал в горле... и Тим разразился таким хохотом, что у него из глаз покатились слезы. Павильон словно гудел от смеха, окна в нем дребезжали; стул, стоявший рядом, трясся, будто тоже смеясь вместе с Тимом. Мир, казалось, вот-вот снова обретет равновесие. Тим смеялся!

Барон, накрывшись черной материей, пережидал, когда кончится этот смех. Его рука, готовая включить "юпитер"; дрожала.

Тим, понемногу успокоившись, состроил гримасу и спросил:

- Это и есть та маргариновая улыбка, которая нам нужна, барон?

На душе у него было радостно, легко, спокойно. Барон все еще казался ему похожим на Петрушку. Он не верил, что все это только на полчаса. Он был убежден, что его смех будет теперь с ним всегда. К Тречу, сидевшему под черным платком, к барону без смеха, он чувствовал что-то вроде сострадания. Даже квакающий, сдавленный голос, дававший ему сейчас указания, вызывал у Тима скорее сочувствие, чем насмешку. Он послушно выставил вперед правую ногу, нагнул голову немного набок, улыбнулся, сказал по просьбе Треча: "Кусок орехового торта", - и в памяти его в эту минуту словно зазвенел колокольчик; а когда барон выключил "юпитер", снова приставил правую ногу к левой и рассмеялся с облегчением.

- Надеюсь, снимок получился удачный, барон!

Тим хорошенько потянулся после утомительного стояния в одной и той же позе и радостно улыбнулся в объектив фотоаппарата. Треч все еще возился под черным платком. Он заявил из своего укрытия, что на один-единственный снимок никак нельзя полагаться. Необходимо сделать по крайней мере еще три. После четвертой, и последней, фотографии Тим так устал позировать, что ему показалось, будто прошел уже, по крайней мере, час. На самом же деле до получаса не хватало еще двух минут, но это даже не приходило ему в голову. Тим не догадывался и о том, почему Треч все еще прячет свое лицо под черной материей. Он подошел к фотоаппарату, откинул черный платок и, смеясь, спросил:

- Вы что, потихоньку изготовляете здесь маргарин, барон?

Внезапно смех его смолк: снизу на него смотрело злое лицо с поджатыми узкими губами и черными стеклами очков вместо глаз - лицо господина в клетчатом. Тим понял, что его собственный смех вводил его в заблуждение: этот человек никогда не отдаст ему назад его смех, его свободу. Этот человек был страшен. Но смех, наполнявший сейчас все, его существо, еще раз обманул Тима - он заставил его насмешливо крикнуть:

- Не играйте в черта, барон! Вы проиграли! Больше вы меня не увидите!

В то же мгновение Тим очутился у стеклянной двери, рванул ее и выбежал в одном только старом джемпере на террасу парка под проливной дождь. Барон не сделал никакой попытки его преследовать...

Джеймс Крюс

"Тим Тайлер или Проданный смех"

Монолог Тима Тайлера, финальная сцена (для мальчика 12-15 лет)

Вдруг наступила зловещая тишина. Тим заключил пари, как ему подсказали, но он все еще не понимал, что случилось. Он стоял растерянный и онемевший. Три дорогих лица, едва освещенные светом далекого фонаря, были обращены к нему с выражением ожидания. Его же лицо находилось в тени, только кусочек лба белым пятнышком светился в темноте.

Тим стоял, опустив глаза в землю. И все-таки он чувствовал на себе эти спрашивающие взгляды. У него было смутное чувство, будто что-то должно сейчас подняться в нем, выйти из неволи, что-то тихое, легкое, свободное, словно птица, словно щебет ласточки, рвущийся на простор. Но сам Тим был как бы еще слишком тяжел для этого, и он чувствовал себя беспомощным. Да, он услышал их, эти переливы с веселым, захлебывающимся смешком на конце. Но он словно все еще не владел своим прежним смехом: скорее это смех овладел им. Теперь, когда наступил долгожданный, выстраданный за долгие годы миг, Тим почувствовал, что сам он еще к нему не готов. Нет, он не смеялся - его сотрясал смех. Пришел час его счастья, а он... он был отдан на произвол этому счастью. Тогда, в кукольном театре, он заметил, как внешне, мимикой и движениями, смех похож на плач. Теперь ему казалось, что смех и плач - это почти одно и то же: он плакал и смеялся одновременно.

Слезы катились по его щекам; он бессильно опустил руки; он даже не смотрел на своих друзей. У него было такое чувство, словно он рождается заново. Он снова был маленьким мальчиком и стоял перед окошком кассы на ипподроме: он выиграл деньги, очень много денег. Он плакал от счастья, что выиграл пари, и от горя, что отец его умер и уже никогда больше не разделит с ним его счастья...

Гавриил Троепольский

"Белый Бим Черное ухо"

Описательный монолог (для парня или девушки 12-16 лет)

Иван Иваныч отпустил такси, в надежде на то, что поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. Шел он действительно с огромной надеждой: если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, если же Бима нет, то, значит, он тоже жив, найдется.

- Бим, мой милый Бимка... Мальчик... Дурачок мой, Бимка, - шептал он, идя по двору.

И вот сторож распахнул дверь фургона.

Иван Иваныч отшатнулся и окаменел...

Бим лежал носом к двери. Губы и десны изодраны о рваные края жести. Ногти передних лап налились кровью... Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил. Свободы и доверия - больше ничего.

Лохматка, забившись в угол, завыла. Иван Иваныч положил руку на голову Бима - верного, преданного,

любящего друга.

Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима и... Не растаяли.

Снег порошил.

Тихий снег.

Белый снег.

Холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны. Седой как снег человек шел по белому пустырю, рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика шли искать своего общего друга. И у них была надежда.

И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым: "Мне совсем стало хорошо". Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается. А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь.

Кристина Сещицкая

"Мой волшебный фонарь"
Монолог школьника Яцека (для подростка 10-14 лет)

Не стану скрывать: я люблю быть первым. Это приносит мне моральное удовлетворение. На тренировках я из кожи вон лезу, лишь бы не отстать от других. Думаю, что ничего постыдного в этом нет - к соперничеству в спорте все так относятся; сегодня одному посчастливится занять первое место, а завтра другому, только и всего. Но в жизни все иначе. Сплошь да рядом бывают случаи, когда я бы охотно закрепил за собой почетное последнее место.

Сегодня у нас в классе произошел именно такой случай. Пани Рудзик несколько дней назад сломала руку; ей наложили гипс от кисти до локтя, и так она пришла в школу. Стоит ли говорить о том, что Генек Крулик помирает от зависти и ужасно сокрушается: как это не он, а пани Рудзик поскользнулась на огрызке. Генек даже облазил весь коридор в поисках этого огрызка, но, видимо, уборщица к тому времени успела подмести, отняв у бедняги заманчивую возможность поскользнуться и сломать руку или ногу.

Итак, сегодня пани Рудзик пришла с рукой и гипсе и с ходу объявила, что у нас будет контрольная, потому что во время контрольной в классе тишина, и хотя тридцать человек вынуждены страдать и мучиться, по крайней мере одному удается посидеть спокойно. С этим нельзя было не согласиться: после несчастного случая с соленым огурцом покой нашей учительнице был и в самом деле необходим. Когда контрольная закончилась - пани Рудзик спросила, не согласится ли кто-нибудь помочь и отнести к ней домой наши классные тетради. Тем самым был дан старт к цели, которая меня привлечь, естественно, не могла. Однако весь наш класс воспылал желанием оказать пани Рудзик эту услугу, и все кинулись в атаку на бедные тетрадки с дикими воплями: «Я отнесу!.. Нет, я!.. Я первый предложил!..» Если б я был уверен, что эти возгласы - проявление необычайной доброты и отзывчивости, я бы безусловно присоединился к остальным, но поскольку я сильно в этих добрых намерениях сомневался, то сел сбоку, наблюдая, как развиваются события. Поглядев на меня, Рысек с возмущением заявил:

- А все-таки ты, Ясек, лентяй и эгоист! Переутомиться боишься, что ли?

И, сделав мне внушение, ринулся в гущу схватки. Учительница доверила тетрадки Ирке. Ирка направилась к двери, и физиономия у нее была такая, точно она держала в руках комплект орденов для ветеранов за безупречную службу, а не наши будущие двойки. И тогда тот же Рысек сказал презрительно:

- Ну конечно, опять Иренка! Первая подлиза в классе! - и посмотрел на Ирку так, точно она была страшней Медузы Горгоны. Хотя я уверен, что если бы Рысеку удалось первым дорваться до тетрадей, он бы прошествовал по классу с таким же выражением лица и ни на минуту не усомнился, что имеет полное право задирать нос.

Ну скажи, почему так трудно уловить разницу между простым желанием помочь человеку и подхалимством? Помогать я готов, но подхалимство - это гнусность. Таким способом завоевывать первенство я не желаю. В нашем классе подлиз без меня хватает. Одни действуют в открытую, другие потихоньку. Мало того: подлизываются некоторые родители. Переться с дарами, когда твоему чаду грозит двойка в четверти, - позор!

Впрочем, у нас в школе учителя обычно отказываются от подарков, и многие даже подымают шум. Только физкультурник однажды без лишних слов взял подношение.

- Спасибо! - сказал он. - Вы это зря делаете, но уж раз принесли, давайте.

Я сам слышал, как он это говорил пани Цеберкевич, когда та совала ему шоколадный набор. А спустя два дня заставил ее разлюбезного сыночка Метека прыгать через козла; когда же этот размазня после нескольких попыток прочно оседлал снаряд, влепил ему пару и даже шоколадкой не угостил в утешение. Полагаю, он таким способом хотел доказать пани Цеберкевич, что конфеты к прыжкам через козла не имеют ни малейшего отношения! Наш физкультурник - настоящий педагог, он, если надо, и родителей может кое-чему научить. Мне же лично становится тошно, когда я вижу, как один человек охмуряет другого, подсовывая разные подарочки.

Валентин Катаев

"Белеет парус одинокий"
Описательный монолог о России

В этот вечер Пете открылось много такого, о чем он раньше не подозревал.

Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать.

Например – Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия – самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России?

Затем папа. Папа – самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете.

Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь – это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например французскому?

Ну и, конечно, бог, о котором уже совсем нечего говорить, – все понятно.

И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия – несчастная, что, кроме папы, есть еще какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь – дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры – бездарные, генералы – бездарные, и, оказывается, не Россия побила Японию, в чем не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония – Россию.

И самое главное – что об этом говорили папа и тетя. Впрочем, кое о чем уже догадывался и сам Петя.

В участке сидели приличные, трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, еще и били. Матрос прыгнул с парохода. Солдаты остановили дилижанс. В порту стояли часовые. Горела эстакада. С броненосца стреляли по городу.

Нет, было совершенно ясно, что жизнь – вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась еще совсем-совсем недавно.

Пете ужасно хотелось спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, будто ничего не знаешь. Тем более что тетя продолжала быть той же приветливой, насмешливой, деловитой тетей, какой была и раньше, ничем не показывала своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером.

Уже шел октябрь.

Акации почти осыпались. В море ревели штормы.

Вставали и одевались при свете лампы.

По неделям над городом стоял туман. Люди и деревья были нарисованы на нем, как на матовом стекле.

Лампы, потушенные в девять часов утра, зажигались снова в пять вечера. Моросил дождь. Иногда он переставал. Ветер уносил туман. Тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лед, небе, за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми

прутьями деревьев, густо закиданных вороньими гнездами, большими и черными, как маньчжурские папахи.

Руки сильно зябли без перчаток. Земля становилась тугой. Страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля ее прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся четко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля.

Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В двух шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер, потом – ночь.

С моря дул прохватывающий ветер. Из порта доносился темный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких, басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности. Как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился во мрак непогоды.

Алексей Иванович Пантелеев

"Ленька Пантелеев"

(описательный монолог для парня 12-15 лет, начало)

...Любил ли его отец? И вообще любил ли он кого-нибудь из близких - жену, мать, приятелей? Ответить на этот вопрос мальчик не мог бы. Но то, что отец был способен на большую, сильную любовь, - он знал.

Была в жизни этого человека привязанность, глубокая, трогательная и нежная.

Отцова нянька Лизавета умерла за два года до появления Леньки на свет. Он знал, что женщина эта, о которой никто, кроме отца, никогда не сказал доброго слова, вынянчила и вырастила Ивана Адриановича. О том, что отец любил и продолжает любить ее, можно было и не говорить, - это чувствовалось по всему, что делалось в доме. Гречневую кашу к обеду варили "как нянька Лизавета". Грибы солили и яблоки мочили "по-нянькиному". Между окнами на зиму выкладывали мох, а не вату - тоже "как при няньке Лизавете".

Портрета этой женщины в доме не было, Ленька никогда не видел ее и не мог видеть, но почему-то в памяти его и до сих пор хранится ее образ: высокая, прямая, с гордым, как у боярыни, лицом, красивая, больше, чем бабушка, похожая на отца...

Запомнился ему зимний день, когда в детскую вошел отец, постоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и спросил:

- Ты что делаешь?

- Так... ничего, - пробормотал Ленька.

- Одевайся... поедем...

Ленька удивился и обрадовался. Отец редко брал его куда-нибудь с собой.

- А куда? - спросил он.

- На кладбище.

Ленька удивился еще больше. Отец никогда не ходил в церковь, никогда не ездил на кладбища - на могилы родных...

Хорошо помнится Леньке этот мягкий, морозный день, окраинные питерские улочки, фабричные трубы, гудки паровозов на Варшавской дороге. Долго они блуждают с отцом по заснеженным кладбищенским дорожкам. Хорошо пахнет снегом, от тишины и безлюдья слегка замирает сердце. Отец останавливается, снимает шапку. За чугунной решеткой - небольшой черный памятник.Наверху его маленький золоченый крестик, а под ним, на побелевшей от инея лабрадоритовой глыбе - три слова: "Няне от Вани".

Ленька тоже стаскивает с головы свою ушастую шапку и искоса смотрит на отца. Он не узнает его. Какое у него мягкое, милое, доброе и помолодевшее лицо! И вдруг он почти с ужасом замечает, что по этому лицу катятся слезы. У Леньки у самого начинают дергаться губы.

- Ну, идем, сыне, - говорит Иван Адрианович и, мелко покрестив грудь, надевает свою каракулевую шапку...

С кладбища поехали домой. Отец был веселый, шутил с извозчиком, называл его тезкой... С полдороги он вдруг раздумал и приказал ехать не в Коломну, а в другой конец города - на Большую Конюшенную,

в универсальный магазин Гвардейского экономического общества.

Здесь они с Ленькой долго бродили по разным отделам и этажам. Отец выбирал себе галстук и запонки, купил матери брокаровских духов, а детям - маленькие, похожие на бутылочки кегли. Потом с этими покупками пошли в ресторан, который помещался тут же, в одном из этажей магазина.

Ленька никогда еще не был в ресторане. Все его здесь удивляло и занимало. И стриженные под машинку официанты в черных, как у кинематографических красавцев, фраках. И блеск мельхиоровой посуды. И особые, острые запахи ресторанной кухни, смешанные с запахами сигар и винного перегара.

Отец заказал обед: матросский борщ и беф-строганов. Ленька пил фруктовую ланинскую воду из маленькой, как кегля, бутылочки и не заметил, как за соседним столом появилась компания офицеров. Это были все молодые люди в красивой форме гвардейских кавалергардов. Офицеры пили шампанское, чокались, провозглашали тосты. Один из них, совсем молоденький, с белокурыми, закрученными кверху усиками, поднялся с бокалом в руке и громко, на весь ресторан, объявил:

- Господа! За здоровье государя императора!..

Иван Адрианович, который тоже в это время держал в руке налитую рюмку, повернулся на стуле, прищурился и насмешливо посмотрел на молодого кавалергарда....

При этом он как-то чересчур громко кашлянул или хмыкнул. Все вокруг один за другим поднялись, а он сидел. Больше того - он не стал пить, а поставил рюмку - и даже отодвинул ее на самую середину стола.

- Эй вы... почтенный! - крикнул офицер. - Разве вы не слышите?

- Что? Вы ко мне? - спросил Иван Адрианович, и Ленька похолодел, увидев знакомый ему дикий огонек, блеснувший в глазах отца.

- Папаша... папаша... не надо, пожалуйста, - забормотал он.

- Я вас спрашиваю: разве вы не слышите, за чью особу провозглашен тост? - ерепенился кавалергард.

- Какую особу? - притворно удивился Иван Адрианович.

Из-за соседнего стола выскочил другой офицер.

- Мерзавец! Сию же минуту встать! - заорал он, подскакивая к Ивану Адриановичу.

Иван Адрианович с грохотом отодвинул стол.

- Извольте... сейчас же... свои слова обратно, - каким-то очень тихим и страшным голосом проговорил он.

Ленька зажмурился. Он успел увидеть, как офицер замахнулся на отца, как отец поймал его руку... Что произошло дальше, он плохо помнит. Несколько человек накинулись на отца. Ленька видел, как Иван Адрианович схватил со стула тяжелый пакет с кеглями и поднял его над головой. Он слышал звон, грохот, женский плач... В нос ему ударил острый запах духов. На несколько секунд он увидел лицо отца. Щека и висок у него были в крови.

Что было дальше и как они добрались домой, он не запомнил. Смутно помнится ему, что ехали они на извозчике, что отец обнимал его и плакал и что от него остро, удушливо пахло водочным перегаром и гиацинтами. Наверно, это пахли раздавленные в свалке брокаровские духи. Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал, - от жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил...

После этого случая Иван Адрианович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал это время - Ленька так и не узнал.

Михаил Зощенко

Аристократка

Монолог Григория Ивановича (для парня 15-18 лет)

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в своё время я увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то всё и вышло. А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит. Чулочки на ней, зуб золочёный.

— Откуда,— говорю,— ты, гражданка? Из какого номера?

— Я,— говорит,— из седьмого.

— Пожалуйста,— говорю,— живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да,— отвечает,— действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод. Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму её под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы,— говорит,— меня всё по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,— как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно,— говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то её вижу. Хотя плохо. Поскучал я, вниз сошёл. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте,— говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно,— говорю,— действует ли тут водопровод?

— Не знаю,— говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету, на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг её и предлагаю:

— Ежели,— говорю,— вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси,— говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрёт. А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег.

Съела она с кремом, цоп другое.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берёт третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет,— говорит,— мы привыкшие.

И берёт четвёртое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи,— говорю,— взад! Ложи,— говорю,— к чёртовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

— С вас,— говорит он,— за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как,— говорю,— за четыре?! Когда четвёртое в блюде находится.

— Нету,— отвечает,— хотя оно и в блюде находится, но надкус на ём сделан и пальцем смято.

— Как,— говорю,— надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

Ну, народ, конечно, собрался. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету. А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,— народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте,— говорю. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай,— говорит,— я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Досмотрели мы оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.

Михаил Шолохов

"Поднятая целина" (отрывок)
(монолог для парня или девушки 13-17 лет)

Февраль...

Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи - как переспелые арбузы - в змеистых трещинах. За хутором возле зяблевой пахоты снежные наносы слепяще, нестерпимо блещут. Тополя над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам строевым лесом высятся прямые оранжевые стволы дыма. А на гумнах от мороза пшеничная солома духовитей пахнет лазоревым августом, горячим дыханьем суховея, летним небом...

На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьянной былки объедьев. Ягнят и козлят зимнего окота уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней, и от козлят, от курчавой их шерсти первозданно, нежнейше пахнет морозным воздухом, разнотравьем сена, сладким козьим молоком. Снег под настом - ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, так выморочно студеное небо в зыбкой россыпи многозвездья, что кажется - мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина - жемчужный след.

Ночью, если тихо заржет сжеребая кобыла, чувствуя, как в черном атласном вымени ее приливает молоко, ржанье слышно окрест за много верст.

Февраль...

Предрассветная синяя тишина.

Меркнет пустынный Млечный Путь.

В темных окнах хат багрово полыхающие зарева огней: отсвет топящихся печек.

На речке под пешней хрупко позванивает лед.

Февраль...

Михаил Зощенко

"Дела и люди"
(монолог для парня 14-17 лет)

Вчера, черт возьми, я чуть на работу не опоздал.

Главное, я вышел вовремя. Попил чайку. Спускаюсь с лестницы. Гляжу – кошка на окне сидит.

Хотел я этого котенка погладить, но после думаю: еще, черт возьми, опоздаю, если тут разных котов начну гладить.

И не приласкав киску, быстро выхожу во двор.

Выхожу во двор, подхожу к воротам – нельзя пройти. Под воротами яму вырыли. Трубы, что ли, лопнули – ремонтируют.

Народ собрался с двух сторон. И на улице ждут – пойти домой не могут. И во дворе трудящиеся волнуются – не могут поспешать на службу.

Которые яму роют, говорят:

– Через час зароем – не волнуйтесь. А которым такая торопежка – пущай в яму сигают, мы их будем наверх подавать.

Вот один прыгнул, но измазался, как подлец. Его там в яме, пока наверх подняли, до того в грязи отвозили, что он, выйдя на улицу, снова сиганул в яму и велел опять поднять его во двор – пошел мыться и переодеваться.

Стоящие во дворе начали волноваться.

– Позовите, говорят, председателя. Чего он, сволочь, до восьми часов утра дрыхнет.

Приходит председатель. Обижается.

– Я, говорит, не на жалованьи работаю. Я не нанятой. Почем я знал, что они поперек всех ворот выроют.

Член коллегии защитников, некто Брыкин, ядовито отвечает:

– Характерный фактик. Обыкновенная история. Это у нас часто. Чего-нибудь делают, а про людей забывают.

Председатель говорит:

– Вы в нашем доме известный нытик-интеллигент.

Другой жилец говорит:

– Вот, для примеру, я не интеллигент, а я тоже могу отметить. Я вчера голый хотел в ванну сесть. У меня колонка топится. Вдруг – здравствуйте, благодарю – воду закрыли. Я голый печку заливал, а то без воды колонка может лопнуть. Меня предупредить нужно, что воду закроете. Это есть чистое безобразие.

Председатель говорит:

– А ну вас! Завсегда с претензиями. А еще пролетарий.

Один, который на улице ожидает, говорит:

– Тогда пропущайте через квартиры, где выход туда и сюда. Чего я буду на вашу яму любоваться.

Председатель говорит:

– Через квартиры – мысль правильная. Но только у нас все квартиры деленые. У которых выход туда, у которых – сюда. А через кооператив заведующий навряд ли согласится столько народу пропустить – ему могут товар разворовать. Тем более что кооператив еще закрыт и откроется в десять.

Тут я не стал выслушивать дальнейшую дискуссию, а через окно подвала кое-как протискался на улицу и поднажал ходу.

На трамвай, конечно, не попал, но рысью дошел до своего учреждения. Только повесил номерок на гвоздик – ящик закрывают.

Ну, отделался легким испугом и трепыханием сердца и всего организма.

После работы возвращаюсь домой. Вижу: очень мило – яму зарыли. Ходить можно.

Поднимаюсь к себе. Хочу суп сварить – воды нету. Ремонтируют.

Взял ведерко, пошел в соседний дом. Нацедил воды. Только прихожу домой, гляжу – вода идет. Тут я сгоряча выплеснул воду в раковину. Гляжу – обратно воды нету. Закрыли. Побежал вниз узнать, как и чего. Да, говорят, пустили для пробы на пять минут, чтоб жильцы водой запаслись.

Я говорю:

– Но ведь надо, черт возьми, людей предупреждать. Почем люди знают, чего вы думаете.

Председатель говорит:

– Нам, знаете, не до людей – у нас работа идет.

Спорить я не стал, сходил еще раз за водой. Сварил суп. Но кушать не стал - аппетит пропал от усталости и от огорченья.

Анна Кирьянова

"Про окно"
(монолог для девушки 14-17 лет)

В детстве я часто оставалась одна дома. Когда болела. Мама и папа работали врачами, и не могли надолго оставлять пациентов. И зимой быстро становилось темно. И страшно одной в пустой квартире. И на горле - колючий шарфик, для прогревания. Но можно было смотреть в окно - там светил ярко фонарь. И падал крупными хлопьями снег. Подбородком упрешься в подоконник - и кажется, что не страшно совсем. Пустынная улица, тихий вечер, месяц на небе. И в другом окне - мальчик в пижаме. Худенький, с челочкой и тоже - с шарфиком. Тоже болеет. Помашешь ему рукой - он машет в ответ. Или показывает машинку - он играет машинкой. Но ему не очень удобно махать - он на костылях.

Так проходит вечер в тихой игре, а потом повернется ключ в дверях - мама пришла! Или - папа! И страхи забыты, и мальчик, - я снова в своей квартире, дома, где светло и не страшно. И так проходил день за днем, а потом настала весна, и можно стало гулять во дворе, а в окно и смотреть незачем - весна на улице. Но я мальчика все равно помнила и мне жалко было его - что он на костылях. И я все ждала, что, может, он выйдет гулять - но никак не могла понять, в каком доме он живет. И найти его окно - весною все окна одинаковы. Наверное, он в своем дворе гуляет - я сходила и посмотрела - в чужой двор меня не пускали гулять. Но мальчика не было там.

И прошло очень много лет. Скажем, тридцать. И мы разговаривали с моим близким другом зимним вечером. Он тяжело болел и жить ему оставалось недолго. И он полюбил длинные тихие разговоры вечерами, хотя раньше был суровый и сильный человек, молчаливый и замкнутый. Война его таким сделала. И жизнь суровая была - не до сантиментов. И не больно он любил всякие "телячьи нежности" и беседы о детстве. А потом - полюбил. Когда многое понял. Страдание некоторых людей очень меняет к лучшему. Мы много лет дружили уже во взрослой жизни - сразу ужасно понравились друг другу. С первого взгляда. И продружили до последнего его дня. И он все чаще вспоминал детство.

Он в деревне жил, далеко в глуши. И очень болел, ходил на костылях. И его клали в больницу, где он лежал один в палате - больница-то была деревенская. А родители работали. И он зимним вечером боялся один. И подходил к окну. Там, за окном, светил фонарь. И снег шел крупными хлопьями. И светилось ярко окно, а в окне - девочка стоит. И машет рукой. И он махал - машинкой. Так проходил вечер.

И, когда его мама забрала из больницы, он все хотел найти девочку - но вокруг и домов-то не было. Вокруг больницы было белое снежное поле, башкирская степь. Но девочка точно была! Была, конечно. И окно было, и девочка, и фонарь, и снег. И жизнь. А, когда пройдет эта жизнь, мы снова будем вместе - расстояние ничего не значит. И время - всего лишь свойство сознания. Вот оно - окно. И иногда я вижу своего друга, таким, как когда-то - с челочкой.

Мальчика в окне.

Сургучёв Иван

Ванькина молитва
(отрывок)

…Ванька полежал еще немного, потянулся, согнал с себя лень и босыми ногами, ощущая на горячих подошвах холо-док пола, вышел на крыльцо.

Было раннее, прохладное утро. Вдали, на горе, сияя на солнце крестами колоколен и белыми домами, стоял город.

Там жили люди; которые имеют возможность платить по гривеннику за фунт яблок. Там будет жить и он, Ванька. Но, конечно, уж он не будет тратить гривенников на пустя-ки. Он купит что-нибудь хорошее, полезное, например лошадь. Будет ездить на ней в поле, до Надеждинской церкви, и на свежем воздухе — петь.

— Под-дай, господи!..— пробасил Ванька, как дьячок в церкви, чтоб прочистить голос, и затем, управляя обеими руками, спел еще сербское:

— Теб-бе, господи!

Спел так, как учил его отец.

На пение прибежал верный Ванькин пес, который носил странное имя: Кисель. Это был здоровый дворняга, лохма-тый, с обвислой шерстью и с хвостом всегда в репьях. По мнению своего хозяина, Кисель был самый умный пес во всей улице. Он был стар и никогда не лаял без дела. Все соседские собаки приходили к нему учиться, как нужно жить на белом свете. И покойник отец неоднократно гова-ривал, что если бы Киселя послать в Москву на выставку, то ему за ум дали бы медаль и Кисель был бы похож на ста-росту.

Ванька сел на порог, Кисель, по своему обыкновению, сейчас же уселся около него, глядя ему прямо в глаза и рас-пустив хвост метлой. Хозяин почесал у него за ушами и повел такую речь:

— Ну, Кисель, сегодня я, брат, тово... Вон, поверни мор-ду... Видишь? Уйду... Вон туда... В город... Уйду... Прощай, брат.

Ванька погладил его по голове, а Кисель, в благодар-ность за ласку, вытянул морду и лизнул Ваньку по носу. Тот утерся рукавом и продолжал:

— Ты тут без меня не дури! Знай, что я — человек стро-гий и шуток не люблю. Если мать скажет что, выдеру, брат, тебя как Сидорову козу. То-то... Собак маленьких не обижай зря. Тебе-то старому хрену, и самому это знать нужно.

Кисель изловчился и цапнул зубами муху, которая усе-лась у него на носу и за которой он давно уже следил глазами.

Яиц в сарае — боже тебя упаси! Я знаю, ты повадился за последнее время к курам лазить. Смо-отри! — И Ванька пригрозил Киселю пальцем.— Бо-оже тебя упаси! Ну, в воскресенье слопай пару, черт с тобой, а больше ни-ни! Не выводи меня из терпения.

Кисель сделал невинные глаза и, словно не ему говорят, поставил хвост трубой.

— Будешь вести себя хорошо,— продолжал Ванька,— будку тебе с замочком устрою, с окошечком. Будешь себе на старости лет сидеть, на двор поглядывать,— как там дож-дик идет. Другие собаки в голоде да в холоде, а ты у меня как паша. Да-а!

Потом Ванька вспомнил вдруг про себя, что ему придет-ся бросить все: и дом, и мать, и Киселя, и Сорокоумова,— и ему стало грустно.

— Приходи, брат, меня проведывать! — меланхолически сказал он, обняв Киселя за шею и прислонившись к нему головой. — Почаще приходи... Я тебя сахаром покормлю. В чужие, брат, люди иду... Может, меня бить будут... При-дешь, поговорим,— все свой человек. На душе и полегчает. Вам, собакам, добро: денег зарабатывать не надо, а нам надо. Вам хорошо. Стрельнут тебя по боку камнем,— у тебя как с гуся вода. А меня ударь — шишка в три арши-на вырастет.

Долго разговаривал он с Киселем, потом встал и начал умываться, сам поливая себе на руку. И пыль, на которую падала вода, сейчас же покрывалась коричневыми пятнами. Было еще рано, и тень от предметов падала черная и густая. Но день обещал быть жарким, и в городе, вероятно, будет пыль. С крыльца было видно, как внизу, на огородах, сверкали на солнце пруды и колосился камыш.

Ванька, в ожидании матери, походил по двору, посмот-рел, не вывели ли индюшки индюшат, попробовал за стро-пило крышу сарая и спустился в погреб. Погреб был вырыт в земле, и в нем всегда было холодно. Там пахло солеными огурцами, укропом и еще чем-то, дававшим, в общей слож-ности, приятный запах. На полочках, у стены, стояли кув-шины с молоком, приготовленные к завтрашнему базару. В другое время Ванька не выдержал бы и серьезно ознакомился бы со всеми вкусными вещами, но теперь, вспомнив, что все это — деньги, которые нужно зарабатывать, повер-нулся от искушения, глубоко вздохнул и полез вон из погреба. У выхода, заглядывая вниз, стоял Кисель и махал хвостом…

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ АВТОРОВ

Аверченко Аркадий
Айтматов Чингиз
Алексиевич Светлана
Алексин Анатолий
Андерсен Ганс Христиан
Астафьев Виктор
Баруздин Сергей
Бианки Виталий
Богаев Олег
Булгаков Михаил
Бунин Иван
Васильев Борис
Ганаго Борис
Гаршин Всеволод
Гелприн Майк
Голявкин Виктор
Горький Максим
Грин Александр
Достоевский Фёдор
Драгунский Виктор
Дружинина Марина
Дятлов Владимир
Екимов Борис
Железников Владимир
Закруткин Виталий
Зощенко Михаил
Каверин Вениамин
Казанцев Алексей
Катаев Валентин
Кирьянова Анна
Коваль Юрий
Коэльо Пауло
Кривин Кривин
Крюкова Тамара
Крюс Джеймс
Куцко Сергей
Леонардо да Винчи
Лесков Николай
Ликок Стивен
Люси Мод Монтгомери
Михайленко Елизавета
Носов Николай
Носов Евгений

Олби Э.
Осеева Валентина
Пантелеев Алексей Иванович
Паустовский Константин
Пермяк Евгений
Петросян Татьяна
Пивоварова Ирина
Платонов Андрей
Пономаренко Елена
Постников Валентин
Приставкин Анатолий
Пришвин Михаил
Родари Джанни
Розов Виктор
Рыбаков Евгений
Сещицкая Кристина
Силин Сергей
Скребицкий Георгий
Сургучев Иван
Тварк Мэн
Твен Марк
Телешов Николай
Тендряков Владимир
Токарева Виктория
Толстой Лев
Троепольский Гавриил
Тургенев И.С.
Туричин Илья
Тэффи Надежда
Уайльд Оскар
Узун Сергей
Ушинский К.Д.
Фадеев Александр
Цанев Стефан
Цветаева Марина
Чарская Лидия
Чехов Антон
Шипилов Андрей Михайлович
Шолохов Михаил
Якимов Иван
Яковлев Юрий